


РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ



Борис
Васильев

А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...

« А З Б У К А »

Волков

Русская литература. Большие книги

Борис Васильев

А зори здесь тихие...

«Азбука-Аттикус»

1969

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Васильев Б. Л.

А зори здесь тихие... / Б. Л. Васильев — «Азбука-Аттикус»,
1969 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21741-6

Борис Васильев был в истинном и самом простом смысле этого слова народный писатель. В Солнечногорск, где он жил уединенно в последние годы, к нему ездили почти как к Толстому в Ясную Поляну И сегодня Васильева читают, Васильева любят, его слову доверяют. Далеко не всем авторам XXI века дано создать нечто подобное по силе, искренности, проникновенности, как книги Бориса Васильева о военных и предвоенных годах, об этических вопросах любви, чувства долга и естественном ходе бытия. В настоящее издание вошли самые известные произведения Бориса Васильева.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-21741-6

© Васильев Б. Л., 1969
© Азбука-Аттикус, 1969

Содержание

А зори здесь тихие...	6
1	6
2	10
3	15
4	20
5	26
6	33
7	40
8	45
9	49
10	54
11	58
12	63
13	67
14	71
Эпилог	74
Самый последний день...	75
1	75
2	77
3	81
4	86
5	89
6	92
7	95
8	98
9	101
10	106
11	113
12	117
13	123
14	127
Не стреляйте белых лебедей	129
От автора	130
1	131
2	134
3	137
4	142
5	147
Конец ознакомительного фрагмента.	150

Борис Васильев

А зори здесь тихие...

© Б. Васильев (наследник), 2022

© Р. Волигамси, иллюстрация на обложке, 2010

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®

А зори здесь тихие...

1

На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.

Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах оставалось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались, на четвертый начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда, хмурый старшина Васков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладилась переписывать прежние рапорты, меняя в них лишь числа да фамилии.

– Чепушиной занимаетесь! – гремел прибывший с последним рапортом майор. – Писанину развели! Не комендант, а писатель какой-то!..

– Шлите непьющих, – упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного начальника, но талдычил свое, как пономарь. – Непьющих и это... чтоб, значит, насчет женского пола.

– Евнухов, что ли?

– Вам виднее, – осторожно говорил старшина.

– Ладно, Васков! – распаяясь от собственной строгости, сказал майор. – Будут тебе непьющие. И насчет женщин тоже будут как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься...

– Так точно, – деревянно согласился комендант.

Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощанье еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось непросто, поскольку за три дня не прибыло ни одного человека.

– Вопрос сложный, – пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне. – Два отделения – это же почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь...

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:

– С командиром прибыли?

– Не похоже, Федот Евграфыч.

– Слава богу! – Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. – Власть делить – это хуже нету.

– Погодите радоваться, – загадочно улыбалась хозяйка.

– Радоваться после войны будем, – резонно сказал Федот Евграфыч, надел фуражку и вышел.

И оторопел – перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов.

– Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта, – тусклым голосом отрапортовала старшая. – Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.

– Та-ак, – совсем не по-уставному сказал комендант. – Нашли, значит, непьющих...

Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.

– Из расположения без моего слова ни ногой, – объявил он, когда все было готово.

– Даже за ягодами? – бойко спросила рыжая. Васков давно уже заметил ее.

– Ягод еще нет, – сказал он.

– А щавель можно собирать? – поинтересовалась Кирьянова. – Нам без приварка трудно, товарищ старшина, отошаем.

Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:

– Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.

На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались деваками шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло теперь быть и речи, и, если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуше же всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

– Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч, – сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными. – Они вас промеж себя стариком величают, так что глядите на них соответственно.

Федоту Евграфычу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все это есть меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.

Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки – вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то их тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову:

– Демаскирует.

– А есть приказ, – не задумываясь, сказала она.

– Какой приказ?

– Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах.

Комендант промолчал. Ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись – хихикать будут до осени...

Дни стояли теплые, безветренные, и комара народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка – это еще ничего, это еще вполне допустимо для воен-

ного человека, а вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть да кхекать, словно и вправду был стариком, – вот это было совсем уж никуда не годно.

А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер. В глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим да еще восьмикратно помноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром, младшим сержантом Осяниной, загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, – так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.

А эту Осянину он еще раньше выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч осторожно навел справки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости.

– Вдовая она, – поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна. – Так что полностью в женском звании состоит, можете игры заигрывать.

Старшина промолчал: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.

Ну, прежде всего, конечно, дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают – это все так. А внутри – беспорядок!

– Люда, Вера, Катенька – в караул! Катя – разводящая.

Разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это надо порушить, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить, да у нее один ответ:

– А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.

Смеются, черти...

– Стараешься, Федот Евграфыч?

Обернулся – соседка во двор заглядывает, Полинка Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.

– Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя.

Хохочет. И ворот не застегнут: вывалила на плетень прелести, точно булки из печи.

– Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.

– Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди соответственно.

– Война, Евграфыч, все спишет. И с солдат, и с солдаток.

Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена, он этот вопрос с крикуном-майором провентилировал.

Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо...

Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого, четвертого, у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали! Это ж надо – не от газов в мировую, не от клинка в Гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже – медведь заломал! Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели...

Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они, не гляди, что рядовые, наука: упреждение, квадрант, угол сноса. Классов семь, а то и девять, по разговору видно. От девяти четыре отнять – пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет...

Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того невежливого...

Странное дело: до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну, не то чтоб совсем уж двадцать одно выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу окончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов, случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял...

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась, все бы ей петь, да плясать, да винцо попивать. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали – Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах загибался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедля, мальчика через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне за догадливость.

Вот за тот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему пакгауз тот блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно.

Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь...
Вздыхнул старшина.

2

Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер – встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила этот вечер так, словно он только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи, до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант – станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом... Да, потом он пошел ее провожать.

И Рита страшно схитрила, повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в колени.

Они даже простились не за руку, просто кивнули друг другу – и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета. В июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе беспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита несколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались зарегистрировать, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него к ее родителям и все-таки добились своего.

Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика (назвали его Альбертом – Аликом), а еще через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойная и рассудительная, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар, – на заставе так любили петь: «Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш советский огород...» Но дни шли, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.

Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника, отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу – направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «Б»...

Теперь Рита была довольна: она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти: у нее была работа, обязанности и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съезжился, корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.

– Стреляй, Рита!.. Стреляй! – кричали зенитчицы.

А Рита ждала, не сводя перекрестия с падающей точки. И когда немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку. Очередью из четырех стволов начисто разрезало черную фигуру, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помкомвзвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала:

– Пройдет, Ритуха. Я когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад...

Кирьянова была боевой девахой: еще в финскую исползала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.

Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет, просто зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости, болтали о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.

– Спать! – коротко бросала она, выслушав очередное признание. – Еще услышу о глупостях – настоишься на часах вдоволь.

– Зря, Ритуха, – лениво пеняла Кирьянова. – Пусть себе болтают – занято.

– Пусть влюбляются – слова не скажу. А так, лизаться по углам, этого я не понимаю.

– Пример покажи, – улыбалась Кирьянова.

И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое может случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина – тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.

Перед маем расчету досталось – два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили поднощицу – курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону:

– Пополнить отделение нужно.

Рита промолчала.

– У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщины на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.

Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:

– Один из штабных командиров – семейный, между прочим, – завел себе, так сказать, подругу. Член Военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив.

– Давайте, – сказала Рита.

Наутро увидела и залюбовалась. Высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские – зеленые, круглые, как блюдца.

– Боец Евгения Комелькова в ваше распоряжение...

Тот день баннным был, и, когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую как на чудо глядели.

– Женька, ты русалка!

– Женька, у тебя кожа прозрачная!

– Женька, с тебя скульптуру лепить!

– Женька, ты же без лифчиков ходить можешь!

– Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло, на черном бархате...

– Несчастливая баба! – вздохнула Кирьянова. – Такую фигуру в обмундирование паковать – это ж сдохнуть легче.

– Красивая, – осторожно поправила Рита. – Красивые редко счастливыми бывают.

– На себя намекаешь? – усмехнулась Кирьянова.

И Рита опять замолчала. Нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.

А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

– Значит, и у тебя личный счет имеется.

Сказано было так, что Рита, хоть и знала про полковника досконально, спросила:

– И у тебя тоже?

– А я одна теперь. Маму, сестру, братишку – всех из пулемета уложили.

– Обстрел был?

– Расстрел. Семьи комсостава захватили и – под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все! Сестренка последней упала – специально добивали...

– Послушай, Женька, а как же полковник? – шепотом спросила Рита. – Как же ты могла, Женька?...

– А вот могла! – Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. – Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?

Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и – странное дело! – Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчала. Даже смеялась иногда, даже пела с девчонками, но самой собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то на пере-рыве под девичье «ля-ля» «цыганочку» спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет – заслушаешься.

– На сцену бы тебя, Женька! – вздыхала Кирьянова. – Такая баба пропадает!

Так и кончилось Ритино старательно охраняемое одиночество: Женька все перетряхнула.

В отделении у них замухрышка одна была, Галка Четвертак. Худющая, востроносая, косички из пакли, и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала – расцвела Галка. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибки, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки больше ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем – Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, сказала:

– Пошлите мое отделение.

Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменялась – стала за разъезд агитировать. Почему, отчего – никто не понимал, но примолкли: значит, надо, Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара.

Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе и остановила первый грузовик.

– Далеко собралась, красавица? – спросил усатый старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами, и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.

– До города подбросите?

Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник.

– Подремли, деваха, часок...

А утром была на месте.

– Лида, Рая – в наряд!

Никто не видал, а Кирьянова узнала – доложили. Ничего не сказала, усмехнулась про себя: «Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, отгадет...»

И Васкову ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита – меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый, в запасе двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшеничный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удач, Рита бегала туда по две-три ночи в неделю; почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:

– Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль либо командир какой заинтересуется – и сгоришь.

– Молчи, Женька, я везучая!

У самой от счастья глаза светятся. Разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась:

– Ой, гляди, Ритка!

То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела одернуть – Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону.

– Пусть, Рита, пусть что хочет думает!

Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит – света невзвидишь. Пример был: двух подружек из первого отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа, с обеда до ужина, мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез, не то что за реку – со двора зареклись выходить.

Но Кирьянова пока молчала.

Стояли безветренные белые ночи. Длинные – от зари до зари – сумерки дышали густым настоем зацветающих трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала через две ночи на третью вскоре после ужина, а возвращалась перед подъемом.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И оттого, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.

Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и звать не знала, что директива имперской службы

СД за № С219/702 с грифом «ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ» уже подписана и принята к исполнению.

3

А зори здесь были тихими-тихими.

Рита шлепала босиком, сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги, оседал на одежде, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет ни заря и сразу шел шупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить – пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены, за кустами.

До пенька осталось два поворота, потом напрямик, через ольшаник. Рита миновала первый и – замерла: на дороге стоял человек.

Он стоял, глядя назад, рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток; на груди висел автомат.

Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого, недвижимо, как во сне стоящего на ее пути.

Из лесу вышел второй – чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тучком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве.

Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом сквозь кусты! Они прошли рядом; крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.

Рита обождала – никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась.

Тишина.

Задыхаясь, кинулась напролом, сапоги били по спине. Не таясь пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь:

– Товарищ комендант!.. Товарищ старшина!..

Наконец открыли. Васков стоял на пороге – в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубаше с завязками. Хлопал сонными глазами.

– Что?

– Немцы в лесу!

– Так... – Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе – разыгрывают. – Откуда известно?

– Сама видела. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках...

Нет, вроде не врет. Глаза испуганные...

– Погоди тут.

Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накинул гимнастерку, второпях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубаше сидела на кровати, разинув рот.

– Что там, Федот Евграфыч?

– Ничего. Вас не касается.

Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила; так, стало быть, теперь воюют.

– Команду – в ружье, боевая тревога! Кириянову ко мне. Бегом!

Бросились в разные стороны: деваха – к пожарному сараю, а он – в будку железнодорожную, к телефону! Только бы связь была!..

– «Сосна»! «Сосна»!.. Ах ты мать честная!.. Либо спят, либо поломка... «Сосна»!.. «Сосна»!..

– «Сосна» слушает.

– Семнадцатый говорит. Давай третьего. Срочно давай, чепе!..

– Даю, не ори. Чепе у него...

В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:

– Ты, Васков? Что там у вас?

– Так точно, товарищ третий. Немцы в лесу, возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух...

– Кем обнаружены?

– Младшим сержантом Осяниной.

Кириянова вошла: без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке.

– Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю лес прочесать...

– Погоди чесать, Васков. Тут подумать надо. Объект без прикрытия оставим – тоже по головке не поглядят. Как они выглядят, немцы твои?

– Говорит, в маскхалатах, с автоматами. Разведка...

– Разведка? А что ей там, у вас, разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?

Вот всегда так, всегда Васков виноват. Все на Васкове отыгрываются.

– Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?

– Думаю, надо ловить, товарищ третий. Пока далеко не ушли.

– Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кириянова там?

– Тут, товарищ...

– Дай ей трубку.

Кириянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да раз пять поддакнула. Положила трубку, дала отбой.

– Приказано выделить в ваше распоряжение пять человек.

– Ты мне ту давай, которая видела.

– Осянина пойдет старшей.

– Ну, так. Стройте людей.

– Построены, товарищ старшина.

Строй, нечего сказать! У одной волосы как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки! Чеси с такими лес, лови немцев с автоматами! А у них, между прочим, одни родимые образца 1891-го дробь 30-го года...

– Вольно!

– Женя, Галя, Лиза...

Сморщился старшина:

– Погоди, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли...

– Умеют.

Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:

– Да, вот еще. Может, немецкий кто знает?

– Я знаю.

Писклявый такой голосишко, прямо из строя.

Федот Евграфыч вконец расстроился:

– Что – «я»? Что такое «я»? Докладывать надо!

– Боец Гурвич.

– Ох-хо-хо! Как по-ихнему «руки вверх»?

– Хенде хох.

– Точно, – махнул-таки рукой старшина. – Ну, давай, Гурвич...

Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.

– Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов... по пять обойм. Подзаправиться... ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все сорок минут. Р-разойдись!.. Кирьянова и Осянина – со мной.

Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то уже смоталась, но постель так и не прибрала, две подушки рядышком, полюбовно... Федот Евграфыч угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую, истертую на сгибах карту-трехверстку.

– Значит, на этой дороге встретила?

– Вот тут. – Палец Осяниной слегка колупнул карту. – А прошли мимо меня, по направлению к шоссе.

– К шоссе?... А чего ты в лесу в четыре утра делала?

Промолчала Осянина.

– Просто по ночным делам, – не глядя, сказала Кирьянова.

– Ночным? – Васков разозлился: вот ведь врут! – Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь?

Насупились обе.

– Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана, – опять сказала Кирьянова.

– Нету здесь женщин! – крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. – Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и, покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем...

– То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода...

Ох и язва же эта Кирьянова! Одно слово – петля!

– К шоссе, говоришь, пошли?

– По направлению...

– Черта им у шоссе делать! Там по обе стороны еще в финскую лес сведен, там их живо прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло... Да вы хлебайте, хлебайте!

– Там кусты и туман, – сказала Осянина. – Мне казалось...

– Креститься надо было, если казалось, – проворчал комендант. – Тючки, говоришь, у них?

– Да. Вероятно, тяжелые: в правой руке несли. Очень аккуратно упакованы.

Старшина свернул сигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, так ясно, что он даже застеснялся.

– Мыслю я, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит.

– До Кировской дороги неблизко, – сказала Кирьянова недоверчиво.

– Зато лесами. А леса здесь погибельные: армия спрятаться может, не то что два человека.

– Если так... – заволновалась Осянина. – Если так, то надо охране на железную дорогу сообщить.

– Кирьянова сообщит, – сказал Васков. – Мой доклад в двадцать тридцать ежедневно, позывной «семнадцать». Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется...

Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придирчив.

– Разуться всем!..

Так и есть – у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через три километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей. Ладно хоть командир их, младший сержант Осянина, правильно обута. Однако почему подчиненных не учит?

Сорок минут преподавал, как портянки наматывать. А еще сорок винтовки чистить заставил. Они в них ладно если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?...

Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела:

– Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет – значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог: в бегущего из автомата попасть – одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?

– Знаем, – сказала рыжая. – Одна справа, другая слева.

– Скрытно, – уточнил Федот Евграфыч. – Порядок движения такой будет. Впереди головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах основное ядро: я... – он оглядел свой отряд, – с переводчицей. В ста метрах за нами последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного... Кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?

Захихикали, дуры...

– Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь: у немца тоже уши есть.

Примолкли.

– Я умею, – робко сказала Гурвич. – По-ослиному – и-а, и-а!

– Ослы здесь не водятся, – с неудовольствием заметил старшина. – Ладно, давайте кричать учиться. Как утки.

Показал, а они засмеялись. Чего им вдруг весело стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал.

– Так селезень утицу подзывает, – пояснил он. – Ну-ка, попробуйте.

Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох хороша девка, не приведи бог влюбиться, хороша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось – способная, видать. И еще у одной неплохо – у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах – не поймешь, где шире. А голос лихо поддельывает. И вообще ничего, такая всегда пригодится: здорова, хоть паши на ней. Не то что пигалицы городские – Галя Четвертак да Соня Гурвич, переводчица.

– Идем на Воль-озеро. Смотрите сюда. – Столпились у карты, дышали в затылок, в уши – смешно. – Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают: значит, мы раньше их там будем. До места нам верст двадцать – к обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам обходным порядком да таясь не менее чем полста отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы?

Посерьезнели его бойцы:

– Понятно...

Им бы телешом загорать да в самолеты пулять – вот это война...

– Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем.

Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидор собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Немцы – вояки злые, это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.

Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше – сала шматок положила да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал: орава-то что на свадьбе. Сунул в ситор патронов побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться...

Хозяйка глядела испуганно, тихо, глаза на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил.

– Послезавтра вернусь. Либо – крайний срок – в среду.

Заплакала. Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта как зайцу курево, а уж вам-то...

Вышел за околицу, оглядел свою «гвардию» – винтовки чуть прикладом по земле не волочатся.

Вздыхнул Васков:

– Готовы?

– Готовы, – сказала Рита.

– Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю. Два крика – внимание, вижу противника. Три крика – все ко мне.

Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил – два крика, три крика. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась.

– Головной дозор, шагом марш!

Двинулись.

Впереди Осянина с толстухой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, подсумком, скаткой да ситором гнулась, как тростинка... Сзади шли Комелькова и Галя Четвертак.

4

За бросок к Вось-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам еще в финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь – в обход, по лесам, а потом к озеру, на Синюхину гряде, и миновать гряде эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались, немцам идти все равно дольше. Раньше чем к вечеру они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов, одного и прикончить можно, а с немцем один на один Васков схватки не боялся.

Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно: смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге, и засек легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфыч заключил, что оставил его детина под два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким оборотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось, но вскоре старшина углядел еще отпечаток и по двум сообразил, что немец топал в обход топи. Все выходило так, как он замыслил.

– Хорошо немчуря побегает, – сказал он своей напарнице. – Здорово очень даже побегает – верст на сорок.

Переводчица на это ничего не сказала, потому как сильно умаялась, аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно:

– Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?

– Сиротствую?... – Она улыбнулась. – Пожалуй, знаете, сиротствую.

– Сама, что ль, не уверена?

– А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?

– Резон...

– В Минске мои родители. – Она подергала тощим плечом, поправляя винтовку. – Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут...

– Известия имеешь?

– Ну что вы...

– Да... – Федот Евграфыч еще покосился, прикинул, не обидит ли. – Родители еврейской нации?

– Естественно.

– Естественно... – Комендант сердито посопел. – Было бы естественно, так и не спрашивал бы.

Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась. Вздохнула тихо:

– Может, уйти успели...

Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробыный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать девять накатов с переборами. Да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил, прополоскать бы в щелоче. Глядишь, и полегчало бы. А вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам прилаживать.

– А ну, боец Гурвич, крякни три раза!

– Зачем это?

– Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил?
Сразу заулыбалась. И глазки живые стали.

– Нет, не забыла!

Кряк, конечно, никакой не получился, баловство одно. Как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему, – подтянулись. А Осянина просто бегом примчалась, и винтовка в руке.

– Что случилось?

– Коли б что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали, – выговорил ей комендант. – Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.

Обиделась, аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе: учить-то надо.

– Устали?

– Еще чего!

Рыжая выпалила: за Осянину расстроилась – ясное дело.

– Вот и хорошо, – миролюбиво сказал Федот Евграфыч. – Что в пути заметили? По порядку. Младший сержант Осянина.

– Вроде ничего... – Рита замялась. – Ветка на повороте сломана была.

– Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Комелькова!

– Ничего не заметила, все в порядке.

– С кустов роса сбита, – торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина. – Справа еще держится, а слева от дороги сбита.

– Вот глаз! – довольно сказал старшина. – Молодец, красноармеец Бричкина! А еще было на дороге два следа. От немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото это возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться...

Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана. Васков нахмурился.

– Не реготать! И не разбегаться. Всё!..

Показал, куда вещмешки сложить, куда скатки, куда винтовки составить, и распустил свое воинство. Враз все в кусты шмыгнули, как мыши.

Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались, шушукались, переглядывались.

– Сейчас внимательнее надо быть, – сказал комендант. – Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но след в след. Тут слева-справа трясины – маму позвать не успеете. Каждая слегу возьмет и, прежде чем ногу поставить, слегой дрыгну пусть пробует. Вопросы есть?

Промолчали на этот раз. Рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурок.

– Ну, у кого силы много?

– А чего? – неуверенно спросила Лиза Бричкина.

– Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.

– Зачем?... – пискнула Гурвич.

– А затем, что не спрашивают!.. Комелькова!

– Я.

– Взять мешок у красноармейца Четвертак.

– Давай, Четвергачок, заодно и винтовочку...

– Разговорчики! Делать, что велят. Личное оружие каждый несет сам...

Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки доораться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно. Щebetать. А щebet военному человеку – штык в печенку. Это уж так точно...

– Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слегой топь...

– Можно вопрос?

Господи, твоя воля! Утерпеть не могут!

– Что вам, боец Комелькова?

– Что такое «слегой»? Слегка, что ли?

Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, как омуты.

– Что у вас в руках?

– Дубина какая-то...

– Вот она и есть слега. Ясно говорю?

– Теперь прояснилось. Даль.

– Какая еще даль?

– Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника.

– Евгения, перестань! – крикнула Осянина.

– Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я – головной, за мной Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина – замыкающая. Вопросы?

– Глубоко там?

Четвертак интересуется. Ну, понятно, при ее росте и ведро бочажок.

– Местами будет по... ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите.

Шагнул с ходу по колени – только трясина чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту определяя, как движется отряд.

Сырой, стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом.

Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, принаравливаясь к маленькой Гале Четвертак.

Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо, и влево брода уже не было.

– Товарищ старшина!..

А, леший!.. Комендант покрепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растянулись, стали.

– Не стоять! Не стоять! Засосет...

– Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!

Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкают шестом в трясину: сапог, что ли, нащупывают?

– Нашли?

– Нет!..

Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он заметил вовремя. Заорал, аж жилы на лбу вздулись:

– Куда?! Стоять!..

– Я помочь...

– Стоять!.. Нет назад пути!..

Господи, совсем он с ними запутался: то не стоять, то стоять... Как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в трясине – смерть.

– Спокойно, спокойно только! До островка пустяк остался, там передохнем. Нашли сапог?

– Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина!

– Идти надо! Тут зыбко, долго не простоим...

– А сапог как же?

– Да разве найдешь его теперь? Вперед!.. Вперед, за мной!.. – Повернулся, пошел не оглядываясь. – След в след. Не отставать!..

Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется, это он по себе знал. Точно.

Добрели наконец.

Он особо за последние метры боялся – там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом дрыгву эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны, и сноровка. Но обошлось.

У островка, где уже стоять можно было, Васков задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться.

– Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.

Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила – вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода.

– Ну что, товарищи бойцы, умаялись?

Промолчали бойцы. Только Лиза поддакнула:

– Умаялись...

– Ну, отдыхайте покуда. Дальше легче будет: до сухой березы добредем – и шабаш.

– Нам бы помыться, – сказала Рита.

– На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну а сушиться, конечно, на ходу придется.

Четвертак вздохнула, спросила несмело:

– А мне как же без сапога?

– А тебе чуню сообразим, – улыбнулся Федот Евграфыч. – Только уж за болотом, не здесь. Потерпишь?

– Потерплю.

– Растрепана ты, Галка! – сердито сказала Комелькова. – Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскиваешь.

– Я загибалась, а он все равно слез. Холодно, девочки.

– Я мокрая до самых-самых...

– Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как сяду!..

Смеются. Значит, ничего, отходят. Хоть и женский пол, а молодые, силенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались: вода – лед...

Федот Евграфыч еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал. Сказал бодро:

– А ну, разбирай сляги, товарищи бойцы. И за мной прежним порядком. Мыться-греться там будем, на бережку.

И шархнул с корня прямо в бурое месиво.

Этот последний бродок тоже был не приведи господь. Жижа – что овсяный кисель: и ногу не держит, и поплыть не дает. Пока не распахнешь, чтобы вперед продвинуться, семь потов сойдет.

– Как, товарищи?

Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.

– Пивяки тут есть? – задыхаясь, спросила Гурвич.

Она следом за ним шла, уже по проломленному, ей полегче было.

– Нету тут никого. Мертвое место, погибельное.

Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и Васков пояснил:

– Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его...

Подумал маленько, добавил:

– Старики бают, что аккурат в таких местах хозяин живет, лешак, значит. Сказки, понятное дело...

Молчит его «гвардия». Пыхтит, ойкает, задыхается. Но лезут. Упрямо лезут, зло.

Полегче стало – кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кой-где появились. Старшина нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся, в затылок шли. К березе почти разом выбрались, дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уж совсем пустяком выглядело, тем более что и почва все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загалдели разом, обрадовались и слегги побросали. Однако Федот Евграфыч слегги велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить:

– Может, кому сгодится.

А отдохнуть не дал ни минуты. Даже босую Галю Четвертак не пожалел.

– Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, поднатужьтесь. У протоки отдохнем.

Влезли на взгорбок – сквозь сосенки протока открылась. Чистая как слеза, в золотых песчаных берегах.

– Ура! – закричала рыжая Женька. – Пляж, девочки!

Девушки заорали что-то веселое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывали с себя скатки, вещмешки...

– Отставить! – гаркнул комендант. – Смирно!

Враз замерли. Смотрят удивленно, даже обиженно.

– Песок! – сердито продолжал старшина. – А вы в него винтовки суете, вояки. Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидора, скатки – в одно место. На мытье и приборку даю сорок минут. Я за кустами буду, на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.

– Есть, товарищ старшина.

– Ну, все. Через сорок минут чтоб все были готовы. Одеты, обуты и чистые.

Спустился пониже. Выбрал местечко, чтоб и песок был, и вода глубокая, и кусты кругом. Снял амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво переговаривались девушки, только смех да отдельные слова долетали до Васкова, и, может, по этой причине он все время и прислушивался.

Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки да белье выстирал, отжал, сколь мог, и на кусты раскинул для просушки. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынырнул – вздохнуть не мог, ледяная вода сердце стиснула. Крикнуть хотелось во всю мочу, но убоился «гвардию» свою напугать, покрякал почти шепотом, без удовольствия, смыл мыло – и на берег. И только уж когда суровым полотенцем растерся докрасна, отдышался, снова прислушиваться стал. А там гомонили, как на побеседушках, – все враз и каждый свое. Только смеялись дружно да Четвертак радостно выкрикнула:

– Ой, Женечка! Ай, Женечка!

– Только вперед! – заорала вдруг Комелькова, и старшина услышал, как туго плеснула за кустами вода.

«Ишь ты, купаются...» – уважительно подумал он.

Восторженный визг заглушил все звуки разом: хорошо, немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего разобрать было невозможно, а потом Осянина резко крикнула:

– Евгения, на берег!.. Сейчас же!..

Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почикал «катушкой» по кремню, прикурил от затлевшего фитиля и стал неспешно, с удовольствием курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину.

За сорок минут, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя, и Васков, поживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно:

– Готовы, товарищи бойцы?

– Подождите!..

Ну, так и знал! Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтоб шугануть их, как Осянина опять прокричала:

– Идите! Можно!..

Это старшему-то по званию «можно» кричат бойцы. Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок.

Но это он так, между прочим, подумал, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более что и «гвардия» ждала его в виде аккуратном, чистом и улыбчивом.

– Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?

– Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.

– Молодец, Комелькова! Не замерзла?

– Так ведь все равно погреть некому...

– Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да двинем, пока не засиделись.

Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуню непутевой этой Четвертак соорудил: запасной портянкой обмотал, сверху два шерстяных носка (хозяйки его рукоделье и подарок), да из свежей бересты Федот Евграфыч кузовок для ступни свернул. Подогнал, прикрутил бинтом.

– Ладно ли?

– Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.

– Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать...

Гнал он девчат своих ходко: надо было, чтоб юбки да прочие их вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались, раскраснелись только.

– А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной, бегом!..

Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переводил, давал отдышаться – и снова:

– За мной!.. Бегом!..

Солнце уже клонилось, когда вышли к Воль-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, не видно было на воде лодок; как ни внюхивался в шепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичали, словно все – и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры, – все ушли на фронт.

– Тихо-то как... – шепотом сказала звонкая Евгения. – Как во сне.

– От левой косы Синюхина гряда начинается, – пояснил Федот Евграфыч. – С другой стороны эту гряду второе озеро поджимает, Легонтово называется. Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал.

– Безмолвия здесь хватает, – вздохнула Гурвич.

– Немцам один путь – меж этими озерами, через гряду. А там известно что – бараньи лбы да камень с избу. Вот в них-то мы и должны позиции выбрать – основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?

Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались...

5

Сроду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за иного женатика, по миру пошла бы семья. Тем более голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался – и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил и о том, что людям выходные положены, узнал к двадцати годам. Ну а потом армия, тоже не детский сад... В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а, наоборот, старшиной стал. А старшина старшина и есть, он всегда для бойцов старей. Положено так.

И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал – он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было – в мироощущении.

Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был он участником Гражданской войны и лично чай пил с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской.

Мысли насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходили. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное.

Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по камням, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него ловко так получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и сразу стал и ходить степенно, и на валуны влезать в три приема.

Впрочем, не это главное было. Главное – отличную он позицию выискал. Глубокую, с укрупными подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе в случае чего немцам надо было часа три кряду огибать, а он мог напрямки отходить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки, выбрал, потому что с двумя-то диверсантами наверняка мог справиться здесь, у основной.

Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, и поэтому разрешил он своей команде соготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась, он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтоб костер был без дыма.

– Замечу дым – вылью в огонь все варево в тот же момент. Ясно говорю?

– Ясно, – упавшим голосом сказала Лиза.

– Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот рубили, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.

Приказ приказом, а для примера сам наломал им сушняка, сам развел костер. Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма не было, только воздух дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, глаза такого быть не могло.

Пока там тройка эта кашеварила, Васков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Комельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрела, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав.

К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:

– Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь ли, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.

– Я наворачиваю, – улыбнулась она.

– Вижу! Худущая, как весенний грач.

– У меня конституция такая.

– Конституция? Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а в теле. Есть на что поглядеть...

После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насоби-рал, его и заварили. Отдохнули полчаса, и старшина приказал построиться.

– Слушай боевой приказ! – торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что поступает правильно насчет этого приказа. – Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Воль-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева – Воль-озеро, сосед справа – Легонтово озеро... – Старшина помолчал, откашлялся, расстроено подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал: – Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?

– А почему это меня в запасные? – обиженно спросила Четвертак.

– Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.

– Ты, Галка, наш резерв, – сказала Осянина.

– Вопросов нет, все ясно, – бодро отозвалась Комелькова.

– А ясно, так прошу пройти на позицию.

Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры, еще раз лично предупредил, чтоб лежали как мыши.

– Чтоб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.

– По-немецки? – съехидничала Гурвич.

– По-русски! – резко сказал старшина. – А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю? Все молчали.

– Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.

Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому ужасно: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!

– С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинейку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь» не скоманую. А то не погляжу, что женский род... – Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой: – Все. Кончен инструктаж.

Выделил сектора наблюдения, распределил попарно, чтоб в четыре глаза смотрели. Сам повыше забрался, биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.

Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евграфыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал, и слышал все шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом мамане сказать. И маманю

увидел, шуструю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное, лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то его за ногу тронул, а он почему-то решил, что это тятка, и испугался до самого сердца. Открыл глаза – Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.

– Немцы?...

– Где? – испуганно откликнулась она.

– Фу, леший... Показалось.

Рита посмотрела на него, улыбнулась:

– Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.

– Что ты, Осянина! Это так, сморило меня. Покурить надо.

Спустился вниз – под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила – спины не видно. Стала гребенку вести – руки не хватает, перехватывать приходится. А волос густой, мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.

– Крашенные, поди? – спросил старшина и испугался, что съязвит сейчас и кончится вот это вот: простое.

– Свои. Растрепанная я?

– Это ничего.

– Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.

– Ладно, ладно. Оправляйся...

О леший, опять это слово выскочило! Потому – ведь из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный!..

Насупился старшина. Закурил, дымом укутался.

– Товарищ старшина, а вы женаты?

Глянул – сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как стопятидесятидвухмиллиметровая пушка-гаубица.

– Женатый, боец Комелькова.

Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.

– А где ваша жена?

– Известно где – дома.

– А дети есть?

– Дети?... – вздохнул Федот Евграфыч. – Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.

– Умер?...

Отбросила назад волосы, глянула – прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то Васков и не удержался, вздохнул:

– Да, не уберегла маманя...

Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотрю.

– Как там у тебя, Осянина?

– Никого, товарищ старшина.

– Продолжай наблюдение!

И пошел от бойца к бойцу.

Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти.

Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России —
Забуть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы
Кровавый отсвет в лицах есть...

– Кому читаешь-то? – спросил он, подойдя.

Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано, наблюдать!), отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой.

– Кому, спрашиваю, читаешь?

– Никому. Себе.

– А чего же в голос?

– Так ведь стихи.

– А-а... – Васков не понял. Взял книжку – тонюсенькая, что наставление по гранатомету, – полистал. – Глаза портишь.

– Светло, товарищ старшина.

– Да я вообще... И вот что – ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинельку подстилай.

– Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.

– А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.

Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулыбался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла. Бывалый человек. Даже поинтересовался:

– Откуда будешь, Бричкина?

– С Брянщины, товарищ старшина.

– В колхозе работала?

– Работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.

– То-то крякаешь хорошо.

Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.

– Ничего не заметила?

– Пока тихо.

– Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебаршатся ли. Человек ты лесной, все понимаешь.

– Понимаю.

– Вот-вот...

Потоптался старшина. Вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка своя-то была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.

– «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь аль твой дроля не пригож?» – с ходу казенным голосом отбарабанил комендант и пояснил: – Это припевка в наших краях такая.

– А у нас...

– После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.

– Честное слово? – улыбнулась Лиза.

– Ну, сказал ведь.

Старшина вдруг залихватски подмигнул ей, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед:

– Ну, смотрите, товарищ старшина! Обещались!..

Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряды на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запряталась боец Четвертак.

А боец Четвертак сидела под скалой на мешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик.

– Ты чего скукожилась, товарищ боец?

– Холодно...

Протянул руку, а она отпрянула: решила сдуру, что хватать он ее пришел, что ли...

– Да не рвись ты, господи! Лоб давай. Ну?

Высунула шею. Старшина лоб ее стиснул, прислушался – горит. Горит, лешак тебя задави совсем!

– Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь?

Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любого обвиноватят. Вот оно, болотце-то, товарищ старшина Васков. Вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получи в натуре одного небоеспособного, обузу на весь отряд и лично на твою совесть.

Федот Евграфыч сидор свой вытащил, лямки сбросил, нырнул. В укромном местечке наиважнейший его энзе лежал – фляга со спиртом, семьсот пятьдесят граммов, под пробку. Плеснул в кружку.

– Так примешь или разбавить?

– А что это?

– Микстура. Ну, спирт. Ну?

Замахала руками, отодвинулась:

– Ой, что вы, что вы...

– Приказываю принять! – Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. – Пей. И воды сразу.

– Нет, что вы...

– Пей без разговору!

– Ну что вы, в самом деле! У меня мама – медицинский работник...

– Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?

Выпила, давась, со слезой пополам. Закашлялась. Федот Евграфыч ее ладонью по спине постукал слегка. Отошла. Слезы ладонями размазала, улыбнулась.

– Голова у меня... побежала!..

– Завтра догонишь.

Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей покрыл.

– Отдыхай, товарищ боец.

– А вы как же без шинели-то?

– Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу, выздоровей.

Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый – все на покой отошло, затаилось. За полночь перевалило, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:

– Может, зря сидим?

– Может, и зря, – вздохнул старшина. – Однако не думаю. Если ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно.

К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась.

То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться, могли какое-либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уже бед натворить уйму: стрельнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объясняй трибуналу, почему ты, вместо того чтобы лес прочесать да немцев прищучить, черт-те куда попер. Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание.

– Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу...

Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром что в одной гимнастерке.

– погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь ли, вечный сон, ежели фрицев проворонил.

– А может, они спят сейчас, Федот Евграфыч?

– Спят?

– Ну да. Люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им...

– погоди, Осянина, погоди! Полста верст – это точно, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь... А?... Так мыслю?

– Так, товарищ старшина.

– А так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито. И спать будут до солнышка. А с солнышком... А?...

Рита улыбнулась. И опять посмотрела, как бабы на ребятню смотрят.

– Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.

– Нету мне сна, товарищ Осянина... Маргарита, как по батюшке?

– Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч.

– Закурим, товарищ Рита?

– Я не курю.

– Да, насчет того, что и они тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала: отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.

– Я не хочу спать.

– Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки небось?

– Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч, – улыбнулась Рита.

Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передраемать до зари – и заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул.

– Что?

– Тише! Слышишь?

Рита скинула шинель, одернула юбку, вскочила. Солнце уже оторвалось от горизонта, зарозовели скалы. Выглянула – над дальним лесом с криком перелетали птицы.

– Птицы кричат...

– Сороки! – тихо смеялся Федот Евграфыч. – Сороки-белобоки шебаршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе – гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом! Но скрытно, чтоб ни-ни!..

Рита убежала.

Старшина залег на свое место – впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал в винтовку патрон. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке.

Сороки кружили над кустами, громко трещали, перещелкивались.

Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли.

Гурвич к нему пробралась:

– Здравствуйте, товарищ старшина.

– Здорово. Как там Четвертак эта?

– Спит. Будить не стали.

– Правильно решили. Будь рядом, для связи. Только не высывайся.

– Не высунусь, – сказала Гурвич.

Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все и сороки вроде как-то успокоились, но старшина знал, что на самой опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряде, через которую лежал их путь и где укрывался сейчас и он сам, и его румяные со сна бойцы.

Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования – уцелеть, – минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности.

– Ну, идите же, идите, идите... – беззвучно шептал Федот Евграфыч.

Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение.

Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким, кошачьим шагом они двинулись к озеру...

Но Васков уже не глядел на них. Не глядел потому, что кусты за их спинами продолжали колыхаться и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами на изготовку.

– Три... пять... восемь... десять... – шепотом считала Гурвич. – Двенадцать... четырнадцать... пятнадцать, шестнадцать... Шестнадцать, товарищ старшина...

Замерли кусты.

С далеким криком отлетали сороки. Шестнадцать немцев, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде...

6

Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма; вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли берегом Воль-озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.

– Шестнадцать, товарищ старшина, – почти беззвучно повторила Гурвич.

– Вижу, – сказал он, не оборачиваясь. – Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты?... Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь, покуда что, ползком жить будем.

Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно годами воспитанное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию секунду, доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход; где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем, и, хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать, Федот Евграфыч переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером! Даже бы и не «дегтярь», автоматов бы тройку да к ним мужиков посноровистей... Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался потом старшина Васков в то росистое майское утро...

– Товарищ старшина... Товарищ старшина...

Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие, растопыренные донельзя глаза, подмигнул:

– Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их. Поняла?

Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, этого старшина объяснять не стал, но Лиза согласно покивала ему и неуверенно улыбнулась.

– Дорогу назад хорошо помнишь?

– Ага, товарищ старшина.

– Гляди – левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.

– Там, где вы хворост рубили?

– Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься.

– Да знаю я, товарищ...

– погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело – болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо трясина. Ориентир – береза. От березы прямо на две сосны, что на острове.

– Ага.

– Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пенек, с которого я в топь сигал. Точно на него цель, он хорошо виден.

– Ага.

– Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы тут фрицев покругим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь.

- Ага.
- Винтовку, мешок, скатку – все оставь. Налегке дуй.
- Значит, мне сейчас идти?
- Слегу перед болотом не позабудь.
- Ага. Побежала я.
- Дуй, Лизавета батьковна.

Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронтаж с ремня снимать, все время ожидаючи поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затянула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете.

Диверсанты были совсем уж близко – можно разглядеть лица, – а Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки, но качнулись легко, словно птицей задетые, и он подумал, что правильно сделал, послав именно Лизу Бричкину.

Убедившись, что диверсанты не заметили связного, он поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и напрямиком побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не было слышно топота.

– Товарищ старшина!..

Бросились, как воробы на коноплю. Даже Четвертак из-под шинелей вынырнула. Непорядок, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Он уж и рот раскрыл, и брови по-командирски надвинул, а как в глаза их напряженные заглянул, так и сказал, словно в бригадном стане:

– Плохо, девчата, дело.

Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал.

Они рядком перед ним устроились, молча следили, как он сигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак:

– Ну, как ты?

– Ничего. – Улыбка у нее не получилась: губы не слушались. – Я спала хорошо.

– Стало быть, шестнадцать их. – Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощупывал. – Шестнадцать автоматов – это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать.

Осянина с Комельковой переглянулись, Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, сигарку свою разглядывая.

– Бричкину я в расположение послал, – сказал он погодя. – На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них – шестнадцать автоматов.

– Что же, смотреть, как они мимо пройдут? – тихо спросила Осянина.

– Нельзя их тут пропустить, через гряду, – сказал Федот Евграфыч. – Надо с пути сбить. Закружить надо, в обход вокруг Легонтова озера направить. А как? Просто боем – не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют – и все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывая все возможности.

Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало, сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натошак в такую даль отправил.

После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка, мечта, а не бритва, но все-таки в двух местах порезался. Залепил порезы газетой, да Комелькова из мешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла.

Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять да порубить дровишек: глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеялось, и нашел бы он выход из этого положения.

Конечно, не для боя немцы сюда забрались, это он понимал ясно. Шли глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их вроде не заметил?... Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы пробраться. А другое место – вокруг Легонтова озера, сутки ходьбы.

Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну задержатся, ну разведку вышлют, ну поизучают их, пока не поймут, что в заслоне этом ровно пятеро. А потом?... Потом, товарищ старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окружат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле, чтоб от четырех девчат да старшины с наганом в леса шарахаться...

Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил – Осяниной, Комельковой и Гурвич; Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:

– Ежели за час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь.

Готовьтесь... А что готовьтесь-то? На тот свет разве? Так для этого времени чем меньше, тем лучше...

Ну, он, однако, готовился. Взял из сидора гранату, наган вычистил, финку на камне наточил. Вот и вся подготовка. У девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли:

– Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?

Не понял Васков: каких лесорубов, где?... Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснять взялись, и сообразил комендант. Сообразил: часть, какая б ни была, границы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны, и посты на всех углах. А лесорубы – в лесу они. Побригадно разбрестись могут – ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, вряд ли – опасно это. Чуть где проглядишь – и все, засекут, сообщат, куда надо. Потому никогда не известно, сколько душ лес валит, где они, какая у них связь.

– Ну, девчата, орлы вы у меня!..

Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумная. За речушкой прямо от воды шел лес – непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это-то место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девичий план.

В самом центре, чтоб немцы прямо в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. А из-за кустов не слишком все же высовываться: ну, мелькать там, показываться, но не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни – все, что форму определяет.

Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее, справа каменные утесы прямо в речку глядели, здесь прохода удобного не было, но, чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом – мелькать, шуметь да костер палить. А тот, левый фланг, на себя и Комелькову взял: другого прикрытия не было. Тем более что оттуда весь плес речной проглядывался; в случае, если бы фрицы все ж таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться.

Времени мало оставалось, и Васков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он не таясь (пусть слышат, пусть готовы будут!) топором дерева подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, дорубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:

– Идут, товарищ старшина!

– По местам, – сказал Федот Евграфыч. – По местам, девоньки, только очень вас прошу – поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите позвончее...

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак на том берегу копошились. Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуню ее прикручивали. Старшина подошел:

– Погоди, перенесу.

– Ну что вы, товарищ...

– Погоди, сказал. Вода – лед, а у тебя хворь еще держится.

Примерился, схватил красноармейца в охапку (пустяк – пуда три, не боле). Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась аж до шеи.

– Как с маленькой вы...

Хотел старшина пошутить с ней – ведь не чурбак нес все-таки, а сказал совсем другое:

– По сырому не особо бегай там.

Вода почти до колен доставала – холодная до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подобрал. Мелькала худыми ногами, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась:

– Ну и водичка – брр!..

И юбку сразу опустила, подолом по воде волоча. Комендант крикнул сердито:

– Подол подбери!

Остановилась, улыбаясь:

– Не из устава команда, Федот Евграфыч...

Ничего, еще шутит! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал что было сил:

– Давай, девки, нажимай веселей!..

Издали Осянина отозвалась:

– Э-ге-гей!.. Иван Иваныч, гони подводу!..

Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне.

Долго ничего там уловить было невозможно. Уже и бойцы его кричать устали, уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Комельковой свалили, уже и солнце над лесом встало, и речку высветило, а кусты той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

– Может, ушли?... – шепнула над ухом Комелькова.

Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные, в такое дело не пошлют кого ни попадя...

Это он подумал так. А сказал коротко:

– Годи.

И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью – и вздрогнул: почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался, и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:

– Вижу...

Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу, без ранцев, налегке. Выставив автоматы, обшаривали глазами голосистый противоположный берег.

Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры и шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и... и поймут, что обнаружены...

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он наверняка прищучит еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут по нему тогда, из всех оставшихся автоматов шарахнут, но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться. Только бы Комелькову отослать...

Он оглянулся, – стоя сзади него на коленях, Евгения зло рвала через голову гимнастерку. Швырнула на землю, вскочила не таясь.

– Стой!.. – шепнул старшина.

– Рая, Вера, идите купаться! – звонко крикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде.

Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А пышная Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем плес.

Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая – в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому, теплomu телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит – и переломится Женька, всплеснет руками и...

Молчали кусты.

– Девчата, айда купаться! – звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде. – Ивана зовите!.. Эй, Ванюша, где ты?...

Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу. Схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну.

– Э-ге-гей, иду! – заорал он и снова ударил по стволу. – Идем сейчас, погоди!.. О-го-го-го!..

Сроду он так быстро деревьев не сваливал – и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник, чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал, выглянул.

Женька уже на берегу стояла, боком к нему и к немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным

под косыми лучами бьющего из-за леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает это буйно-молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставила солнцу до земли распущенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег.

– Ты где тут?...

Хотел весело крикнуть – не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место – сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой:

– Из района звонили, сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.

Поорал для той стороны, а что Комелькова ответила, не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что казалось ему, шевельнись листок – и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось.

Женька потянула его за руку, он рядом сел и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый, как ртуть.

– Уходи отсюда, Комелькова, – изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.

Она что-то еще говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего не мог слышать. Увести ее, увести за кусты надо было немедленно, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые не доперли, что игра все это, что морочат им головы их немецкие, надо было что-то придумать.

– Добром не хочешь – народу тебя покажу! – заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежонку. – А ну, догоняй!..

Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубились.

– Одевайся! И хватит с огнем играть! Хватит!..

Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся, а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки...

Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что юбку проггла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топать.

– Ну, все теперь! – говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельями. – Теперь все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

– Прибежит, – сипло сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос. – Она быстрая.

– Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело, – сказал комендант и достал заветную фляжку. – Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..

Тут все захлопотали, полотенце на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделявать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное позади...

7

Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечкивал – отодвигал.

– Помрет у нас мать-то, – строго предупреждал отец.

Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибирала в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближайшее сельпо за хлебом. Подружки ее давно кончили школу, кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня.

Завтрашний день этот никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места.

В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и осязаемым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дожидаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.

С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом – свидания с подружками, потом – редких свободных вечеров на пяточке возле клуба, потом...

Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить сторонкой веселые компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб.

Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.

– Пожить у нас хочет, – сказал он дочери. – А только где же у нас? У нас мать помирает.

– Сеновал найдется, наверно?

– Холодно еще, – несмело сказала Лиза.

– Тулуп дадите?...

Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала.

Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту, пихал в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил:

– Ты погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прореживать надо, чистить, так выходит? Погоди. Сухостой там, больные стволы, подлесок. Так?

– Чистить надо, – подтвердил гость. – Не прореживать, а чистить. Дурную траву с поля вон.

– Так, – сказал отец. – Так, погоди. Ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели теплое, бегают да пишишит?

– Волк, например?

– Волк? – взъерошился отец. – Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?

– А потому, что у него зубы, – улыбнулся охотник.

– А он что, виноват, что волком родился? Виноват?... Не-ет, мил человек, это мы его обвиновали, сами обвиновали, а его не спросили. По совести это?

– Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть – понятия несовместимые.

– Несовместимые?... Ну а волк и заяц совместимые? Погоди ржать, погоди, мил человек!.. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взались мы за это всенародно и всенародно же перестреляли всех волков по всей России. Всех!.. Что будет?

– Как – что будет? – улыбался охотник. – Дичи много будет...

– Мало! – рывкнул отец и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице. – Мало, понятно тебе? Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Можно. Только зачем? Для спокойствия? Так ведь зайцы зажируют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или за границей покупать для страху?

– А тебя, часом, не раскулачили, Иван Петрович? – вдруг тихо спросил гость.

– Чего меня кулачить? – вздохнул лесник. – Прибытку у меня два кулака да жена с дочкой. Невыгодно им меня кулачить.

– Им?

– Ну нам!.. – Отец плеснул в стакан, чокнулся. – Я не волк, мил человек, я заяц. – Хватнул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь, косматый, как медведь. В дверях остановился. – Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там.

Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боялась, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.

– Неосторожный у вас отец.

– Он красный партизан, – торопливо сказала она.

– Это мы знаем, – улыбнулся гость и встал. – Ну, ведите меня спать, Лиза.

На сеновале было темно, как в погребке. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку.

– Пойдите здесь.

По шаткой лестнице поднялась наверх, ошупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться, звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому прошлогоднему сену, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет светливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову: просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилося сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы – и исчезло.

Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал закурить на сеновале.

– Я знаю, – сказал он и затоптал окурок. – Спокойной ночи.

И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца.

Каждое утро гость исчезал из дому и появлялся только поздним вечером, голодный и усталый. Лиза кормила его, он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.

– Что это вы с охоты ничего не приносите? – сказала она, набравшись храбрости.

– Не везет, – улыбнулся он.

– Исхудали только, – не глядя, продолжала она. – Разве ж это отдых?

– Это прекрасный отдых, Лиза, – вздохнул гость. – К сожалению, и он кончился, завтра уезжаю.

– Завтра?... – упавшим голосом переспросила Лиза.

– Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?

– Смешно, – печально сказала она.

Больше они не говорили, но, как только он ушел, Лиза кое-как прибрала на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы, а потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.

– Кто? – тихо спросил он.

– Я, – сказала Лиза. – Может, постель поправить?...

– Не надо, – перебил он. – Иди спать.

Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание.

– Что, скучно?

– Скучно, – еле слышно сказала она.

– Глупости не стоит делать даже со скуки.

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и – в этом она себе не признавалась, – может быть, даже поцеловали. Но не могла же она сказать, что последний раз ее поцеловала мама пять лет назад и что этот поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

– Иди спать, – сказал он. – Я устал, мне рано ехать.

И зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.

Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.

В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал из шапки на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:

– А он – птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то какой уж год не видали. Целых три кило сахару!..

Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал измятый клочок бумаги.

– Держи.

«Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай: устрою в техникум с общежитием».

Подпись и адрес. И больше ничего, даже привет.

Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый отец теперь совсем озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь

на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд...

Васков понравился Лизе сразу – когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравились его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия неизблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но, когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед роскошными прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула:

– Неправда это!..

– Влюбилась! – торжествующе ахнула Кирьянова. – Втюрилась наша Бричкина, девочки!

В душку военного втюрилась!

– Бедная Лиза! – громко вздохнула Гурвич.

Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес.

Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.

– Ну чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?

Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина – от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес как на крыльях.

«После споем с тобой, Лизавета, – сказал старшина. – Вот выполним боевой приказ и споем...»

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего незнакомого чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жердь.

Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку.

Привязав ее к вершине шеста, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь.

Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая, загробная тишина, повисшая над бурным болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всклипывала, размазывала слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха.

Вскочила – слезы еще текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись с силами, полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и, каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж потерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустык оставался, дорогу она хорошо запомнила, со всеми поворотами, и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.

Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок, видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже, чуть на ногах устоял.

И Лиза опять стала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там... Там посмотрим, кто сильнее – она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной.

Огромный бурый пузырь вспучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную, жидкую грязь.

Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом – шаг, полшага от нее, – но эти полшага уже невозможно было сделать.

– Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..

Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет – теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее...

8

Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков, укрылся в лесах, затаился – и как не было.

Это Васкову не нравилось. Опыт он имел – не только боевой, но и охотничий – и понимал, что врага да медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще напридумает, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо как на плохой охоте, когда не поймешь, кто за кем охотится: медведь за тобой или ты за медведем. И, чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.

– Держи за мной, Маргарита. Я стал – ты стала, я лег – ты легла. С немцем в хованки играть – почти как со смертью, так что в уши вся влезь. В уши да в глаза.

Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли вперед всматривался, ухом к земле прикинул, воздух нюхал – весь был взведенный, как граната. Высмотрев все и до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил – и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура-сорока, и опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих.

Так прошли они гряды, выбрались на основную позицию, а потом в соснячок, по которому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать об этом ни себе, ни младшему сержанту.

За соснячком лежал мшистый, весь в валунах, пологий берег Легонтова озера. Бор начинался отступя от него, на взгорке, и к нему вели корявый березняк да редкие хороводы приземистых елок.

Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшаривал, слушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает на мху одежда.

– Чуешь? – тихо спросил Васков и посмеялся словно про себя. – Подвела немца культура, кофею захотел.

– Почему так думаете?

– Дымком тянет – значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?...

Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень ту же некуда, присел.

– Подсчитать их придется, Маргарита, не отбилась ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба поднимется, уходи немедля, в ту же секунду уходи. Забирай девчат, и топайте напрямик на восток, аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об этом уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разьезда добежать. Все поняла?

– Нет, – сказала Рита. – А вы?

– Ты это, Осянина, брось, – строго сказал старшина. – Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж ежели обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?

Рита промолчала.

– Что отвечать должна, Осянина?

– «Ясен» должна отвечать.

Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.

Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда он исчез – словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь; она отползла назад и села на камень, вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх, и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.

Но как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно – чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах:

– Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец.

Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась:

– Почему?

– Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было лежать.

– Мокро там очень, Федот Евграфыч.

– Мокро... – недовольно повторил старшина. – Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.

– Значит, угадали?

– Я не ворожея, Осянина. Десять человек пищу принимают – видал их. Двое в секрете, тоже видал. Остальные, полагать надо, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго: носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно сюда. И чтоб смеху ни-ни!

– Я понимаю.

– Да, там я махорку свою сушить выложил, захвати, будь другом. И вещички, само собой.

– Захватчу, Федот Евграфыч.

Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все соседние и дальние камни на животе излазал. Высмотрел, выслушал, вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось, и старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К вечеру – ну самое позднее к рассвету! – подойдет подмога, он поставит ее на след и... и отведет своих девчат за скалы. Подальше, чтоб мата не слышали, потому как без рукопашной тут не обойдется.

И опять он своих бойцов издаля определил. Вроде и не шумели, не брякали, не шептались, а – поди ж ты! – комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед их несло, а только Федот Евграфыч втихаря пораздовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.

Курить до тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да по рошицам, от соблазну кисет на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула:

– Забыла! Федот Евграфыч, миленький, забыла!..

Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растряси! Был бы мужской, чего уж проще: загнул бы Васков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать.

– Ну ничего, ладно уж. Махорка имеется... Сидор-то мой не забыли, случаем?

Сидор был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кисета, потому что кисет тот был подарок и на нем вышито было: «Дорогому защитнику Родины». И не успел он устройства своего скрыть, как Гурвич назад бросилась:

– Я принесу! Я знаю, где он лежит!..

– Куда, боец Гурвич?... Товарищ переводчик!..

Какое там, только сапоги затопали...

А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в каптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат – это любой кадровик знает. Но Сонина семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть...

На дверях их маленького домика за Немигой висела медная дощечка: «ДОКТОР МЕДИЦИНЫ СОЛОМОН АРОНОВИЧ ГУРВИЧ». И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам привинтил к дверям. Привинтил потому, что его сын стал образованным человеком и об этом теперь должен был знать весь город Минск.

А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг – днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка поила его вишневой наливкой.

У них была очень дружная и очень большая семья – дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, – и в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.

Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер, серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт.

Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги...

Недолго, правда, носила, всего год. А потом надела форму. И сапоги на два номера больше.

В части ее почти не знали, она была незаметной и исполнительной и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с «мессерами». И наверно, поэтому голос ее услышал один старшина.

– Вроде Гурвич крикнула?...

Прислушались – тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер.

– Нет, – сказала Рита, – показалось.

Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно каменея лицом. Станный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом:

– Комелькова, за мной. Остальным здесь ждать.

Васков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфыч налегке шел, а она с винтовкой, да еще в юбке, которая на бегу всегда оказывается уже, чем следует. Но главное – Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего и не оставалось.

А старшина весь заостренным был, на тот крик заостренным. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слышал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого

последнего ты уж никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант.

И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил – рядом со следом.

Разлапистый след был, с рубчиками.

– Немцы?... – жарко и беззвучнодохнула Женька.

Старшина не ответил. Глядел, слушал, принохивался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула – на осыпи темнели брызги. Васков осторожно поднял камешек – черная густая капля свернулась на нем как живая. Женька дернула головой, хотела закричать – и задохнулась.

– Неаккуратно, – тихо сказал старшина и повторил: – Неаккуратно...

Бережно положил камешек тот, оглянулся, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял. И шагнул за скалу.

В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, и из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Васков потянул ее за ремень, приподнял чуть, чтоб под мышки подхватить, оттащил и положил на спину.

Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфыч осторожно расстегнул ее, приник ухом. Слушал, долго слушал, а Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку; две узкие дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь. Вторая – пониже, в сердце.

– Вот ты почему крикнула, – вздохнул старшина. – Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза – грудь помешала...

Запахнул ворот, пуговики застегнул – все до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть – не удалось, только веки зря кровью измарал. Поднялся.

– Полежи тут покуда, Сонечка.

Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей:

– Некогда трястись, Комелькова.

И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток...

9

Ждали немцы Соню или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце. Нет, успела. И понять успела, и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара – грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.

А может, не так все было? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уж высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет?

Но не страх, ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости и только одного желал – догнать. Догнать, а там разберемся...

«Ты у меня не крикнешь... Нет, не крикнешь...»

Слабый след кое-где печатался на валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнил себя и маялся, что недоглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маета, и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог – погоней. И думать ни о чем другом не хотел, и на Комелькову не оглядывался.

Женька знала, куда и зачем они бегут. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело и не кровоточило. Словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад...

Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.

– Отдышись, – еле слышно сказал Федот Евграфыч. – Тут где-то они. Близко где-то.

Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох как сквозь сито, и сердце от этого никак не хотело успокаиваться.

– Вот они, – сказал старшина.

Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула – в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки.

– Мимо пройдут, – не оглядываясь, продолжал Васков. – Здесь будь. Как я утицей крикну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтоб на тебя они глянули. И обратно замри. Поняла ли?

– Поняла, – сказала Женька.

– Значит, как утицей крикну. Не раньше.

Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк – наперерез.

Главное дело – надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. Второе главное дело – на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать. Чтоб как в воду...

Он хорошее место выбрал – ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб, случаем, не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож.

И тут фрицы впервые открыто показались в редком березнячке, в весенних еще, кружевных листьях. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов боялся, а потому, что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож – только так сейчас дело решалось, только так.

Немцы свободно шли, без опаски; задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крикнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади них прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.

Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено – тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть, ни вздрогнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.

Именно так все задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму.

Всего мгновение прошло, одно мгновение, второй немец еще спиной стоял, еще поворачивался. Но то ли сил у Васкова на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он, а только не достал этого немца ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил, в крови она вся была, скользкая, как мыло.

Глупо получилось: вместо боя – драка, кулачки какие-то. Фриц, хоть и нормального роста, цепкий попался, жилистый, никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались на мху меж камней и березок, но немец помалкивал покуда: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.

И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоился, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдавил ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу тусклым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал, и немец – даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.

И обмяк вдруг, как мешок обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.

Только тогда оглянулся – боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.

– Молодец, Комелькова... – в три приема сказал старшина. – Благодарность тебе... объявляю...

Хотел встать и не смог. Так и сидел на земле, словно рыба глотая воздух. Только на того, первого, оглянулся: здоров был немец, как бык здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже не шевелился: скорчился перед смертью, да так и застыл. Дело было сделано.

– Ну вот, Женя, – тихо сказал Васков, – на двоих, значит, меньше их стало...

Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь как пьяная. Упала там на колени, тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала – маму, что ли...

Старшина встал. Колени еще дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, преступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжело и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падаль ворочал...

И нашел то, что искал: в кармане у рослого, что только-только Богу душу отдал, хрипеть перестав, – кисет. Его личный, старшины Васкова, кисет с вышивкой поверх: «Дорогому защитнику Родины». Сжал в кулаке, стиснул. Не донесла Соня... Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь его перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлипывая.

– Уйдите... – сказала.

А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла – узнала.

– Вставай, Женя.

Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла.

– Брось, – сказал он. – Попереживала, и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже – фашисты. Вот и гляди соответственно.

Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы, обоймы запасные, хотел фляги взять, да покосился на Комелькову и раздумал. Шут с ними, прибыток невелик, а ей все легче, меньше напоминаний.

Прятать убитых Васков не стал: все равно кровящую всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтобы время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются.

У первого же бочажка (благо тут их что конопушек у рыжей девчонки) старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:

– Может, ополоснешься?

Помотала головой – нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь... Вздыхнул старшина:

– Наших сама найдешь или проводить?

– Найду.

– Ступай. И к Соне приходите. Туда, значит... Может, боишься одна-то?

– Нет.

– С опаской иди все же. Понимать должна.

– Понимаю.

– Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем.

Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки...

Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре, не разобрал Васков – здесь аккуратно нож ударил. А Соню нашел: сбоку стояла в платяшке с длинными рукавами и широким воротом; тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил

вчерашний разговор, печаль Сонину и с горечью подумал, что даже написать некуда о героической смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послунил ее платочек, стер с мертвых век кровь и накрыл тем платочком лицо.

А документы к себе в карман положил. В левый – рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета.

Ярость его прошла, да и боль приутихла, только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.

Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, уж инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну пусть пять даже часов оставалось драться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили они немцев с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера сутки топтать.

Команда его подошла со всеми пожитками; двое ушли – в разные, правда, концы, – а барахлишко их осталось, и отряд уж обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло:

– Без истерик тут!..

И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.

– Ну, обряжайте, – сказал старшина.

Взял топорик (ох, лопатки не захватил на случай такой!), ушел в камни место для могилки искать. Поискал, потыкался – скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Веток нарубил, устелил дно, вернулся.

– Отличница была, – сказала Осянина. – Круглая отличница – и в школе, и в университете.

– Да, – сказал старшина, – стихи читала.

А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла нарожать Соня детишек, а те бы внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом...

– Берите, – сказал.

Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную чуню. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.

– Стойте, – сказал он у ямы. – Кладите тут покуда.

Положили у края. Голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не хотел!), буркнул Осяниной, не глядя:

– За ноги ее поддержи.

– Зачем?

– Держи, раз велят! Да не здесь, за коленки!..

И сапог с ноги Сониной сдернул.

– Зачем?... – крикнула Осянина. – Не смейте!

– А затем, что боец босой, вот зачем.

– Нет, нет, нет!.. – затряслась Четвертак.

– Не в цапки же играем, девоньки, – вздохнул старшина. – О живых думать нужно – на войне только этот закон. Держи, Осянина, приказываю, держи.

Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак:

– Обувайся. И без переживаний давай: немцы ждать не будут.

Спустился в яму, принял Сою, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девчата подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок, поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавил. А Комелькова – веточку зеленую.

– На карте отметим, – сказал он. – После войны памятник ей.

Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.

– Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута?

Затряслась Четвертак:

– Нет!.. Нет, нет, нет! Нельзя так! Вредно! У меня мама медицинский работник...

– Хватит врать! – крикнула вдруг Осянина. – Хватит. Нет у тебя мамы. И не было! Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать!..

Заплакала Галя. Горько, обиженно, словно игрушку у ребенка сломали...

10

– Ну зачем же так, ну зачем? – укоризненно сказала Женька и обняла Четвертак. – Нам без злобы надо, а то остервенеем. Как немцы, остервенеем...

Смолчала Осянина...

А Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали – Четвертак. Потому что меньше всех ростом вышла, в четверть меньше.

Детдом размещался в бывшем монастыре, с гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребах.

В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постелей воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье.

Создалось «Дело о нападении...», осложненное тем, что в округе не было ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморожденные Шерлоки Холмсы, и случай от разговора к разговору обрастал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка.

Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на «Мальчика-с-пальчик», но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья.

Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детскому дому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладоискательство с эпидемической силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развевающихся белых одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак.

После этого Галя примолкла. Прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщице опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум, на повышенную стипендию.

Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкома и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы.

Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучивалась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир снова завертелся быстро и радостно.

А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желания, выдаваемые за действительность. И появилась на свет мама – медицинский работник, в существование которой Галя почти поверила сама...

Времени потеряли много, и Васков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть дозорных находят. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять, куда надо, и... ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется.

Но... провозились: Соню хоронили, Четвертак уговаривали – время шло. Федот Евграфыч пока автоматы проверил, винтовки лишние – Бричкиной и Гурвич – в укромное место упрятал, патроны поровну поделил. Спросил у Осяниной:

– Из автомата стреляла когда?

– Из нашего только.

– Ну, держи фрицевский. Освоишь, мыслю я. – Показал ей, как управляться, предупредил: – Длинно не стреляй – вверх задирает. Коротко жарь.

Тронулись, слава тебе... Он впереди шел, Четвертак с Комельковой – основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожко шли, без шума, да опять, видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не нарвались. Чудом, как в сказке.

Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел: двое в упор на него, а следом остальные. И опоздай Федот Евграфыч ровно на семь шагов, кончилась бы на этом вся их служба. В две бы хорошие очереди кончилась.

Но семь этих шагов были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо, с запалом граната была: шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата.

В уставе бой такой встречным называется. А характерно для него то, что противник сил твоих не знает: разведка ты или головной дозор – им это непонятно. И поэтому главное тут – не дать ему опомниться.

Федот Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено, и думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его: попрятались, залегли или разбежались?

Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной иссекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего – слезы ручьем текли. И утереться времени не было.

Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив: патроны кончились. Боялся Васков этого мгновения: на перезарядку секунды шли, а сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, проскочат десяток метров, что разделяли их, – и все тогда. Хана!

Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй автомат – Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор и дала секундочку старшине. Ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой поить.

Сколько тот бой продолжался, никто не помнил. Если обычным временем считать, скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить – силой затраченной, напряжением, опасностью, – на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь.

Галя Четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав; винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась: била в белый свет как в копейку. Попала – не попала, это ведь не на стрельбище, целиться некогда.

Два автомата да одна трехлинейка всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались, – неясность была. И, постреляв маленько, откатились. Без огневого прикрытия, без заслона, просто откатились. В леса, как потом выяснилось.

Враз смолк огонь, только Комелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась. Глянула на Васкова, будто вынырнув.

– Все, – вздохнул Васков.

Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо отер – ладони в крови стали: посекло осколками.

– Задело вас? – шепотом спросила Осянина.

– Нет, – сказал старшина. – Ты поглядывай там, Осянина.

Сунулся из-за камня – не стреляли. Вгляделся: в дальнем березняке, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке зажав. Перебежал, за другим валуном укрылся, снова выглянул: на разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови, а тел не было – унесли.

Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно, в рост, вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была, будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы десять минут полежать, а подойти не успел – Осянина с вопросом:

– Вы коммунист, товарищ старшина?

– Член партии большевиков...

– Просим быть председателем на комсомольском собрании.

Обалдел Васков:

– Собрании?...

Увидел – Четвертак ревет в три ручья. А Комелькова, в кофоти пороховой, что цыган, глазами сверкает:

– Трусость!.. Вот оно что...

– Собрание – это хорошо, – свирепея, начал Федот Евграфыч. – Это замечательно, собрание! Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность, протокол напишем. Так?...

Молчали девочки. Даже Галя реветь перестала, слушала, носом шмыгая.

– А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится?... Не годится. Поэтому как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку: немцы в леса ушли. В месте взрыва гранаты крови много, значит, кого-то мы прищучили. Значит, тринадцать их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос – у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина?

– Полторы.

– Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девочки, во втором бою только видно. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак?

– Верно...

– Тогда и слезы, и сопли утереть приказываю. Осяниной вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполнять.

Молча поели. Федот Евграфыч совсем есть не хотел, а только сидеть, ноги вытянув, но жевал усердно: силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому – аж хруст стоял. И то ладно: не раскисли, держатся пока.

Солнце уж низко было, край леса темнеть стал, и старшина беспокоился. Подмога что-то запаздывала, а немцы тем сумерком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь – ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было.

Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла...

Однако отдыху Васков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуро:

– В поиск со мной идет боец Четвертак. Здесь Осянина старшая. Задача – следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите, затаиться приказываю. Затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну а коли не подойдем, отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на запад. До первых людей – там доложите.

Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак в такое дело идти, не надо. Тут с Комельковой в самый раз: товарищ проверенный, дважды за один день проверенный – редкий мужик этим похвастать может. Но командир – он ведь не просто военачальник, он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано.

А устав старшина Васков уважал. Уважал, знал назубок и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале:

– Вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И что б ни случилось, молчать. Молчать и про слезы забыть.

Слушая его, Четвертак кивала поспешно и испуганно...

11

Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь (точнее сказать – немоощь) противника?

Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Васков голову над ними ломал. Врага понимать надо. Всякое действие его, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война – это ведь не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает. Устав для этого и создан, чтобы голову тебе освободить, чтоб ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника.

Но как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни перекладывал, одно выходило: немцы о них ничего не знали. Не знали, значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой, и фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило, а какую выгоду он из всего этого извлечь мог, пока было непонятно.

Думал старшина, ворочал мозгами, тасовал факты, как карточную колоду, а от дела не отвлекался. Чутко скользил, беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Васков шел пока что без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано. Только без легкости, вяло, – так это от пережитого, от свинца над головой.

А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами: серое, заострившееся лицо Сони, полузакрытые, мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И... две дырочки на груди. Узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти – она физически, до дурноты, ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть это, вычеркнуть – и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая.

Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив...

Васков поднял руку – вправо уходил след. Легкий, чуть заметный на каменных осыпях, тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть неся, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.

– Жди, – шепнул старшина.

Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты – в ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сушняк – в яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки, всматриваясь: у верхнего в затылке чернело аккуратное, почти без крови, отверстие; волосы коротко стриженного затылка курчавились, подпаленные огнем.

«Пристрелили, – определил старшина. – Свои же, в затылок. Раненого добивали – такой, значит, закон...»

Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех это – самый великий из всех. Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения: вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человека определяет.

Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет понимания этого – зверь. О двух ногах, о двух руках и – зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего по отношению к нему не существует – ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого.

Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела. Простая, как жажда: кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и... вызрело. В ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.

«Значит, такой закон?... Учтем».

И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина.

Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее – и словно оборвалось в нем что-то. Боится. По-плохому боится, изнутри, а это – хорошо, если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул:

– Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих, – стало быть, двенадцать осталось. А это нам не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустяки!..

Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, в глаза выискивая. Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить – это Федот Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть, не знал. Не было у него такого опыта, и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.

– Про Павла Корчагина читала когда?

Посмотрела на него Четвертак эта как на помешанного, но кивнула, и Федот Евграфыч приободрился:

– Читала, значит? А я его, как вот тебя, видел. Да. Возили нас, отличников боевой и политической, в город Москву. Ну, там Мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним встречались. Он, не гляди, что пост большой занимает, простой человек. Сердечный. Усадил нас, чаем угостил: как, мол, ребята, служится?..

– Ну зачем же вы обманываете, зачем? – тихо сказала Галя. – Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он совсем, а Островский. И не видит он ничего, и не шевелится, и мы ему письма всем техникумом писали.

– Ну, может, другой какой Корчагин...

Совестно стало Васкову, даже в жар кинуло. А тут еще комар насадет. Вечерний комар, особенный.

– Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что...

Хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула под тяжелой ногой, а он даже обрадовался. Сроду он по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть.

– В куст! – шепнул. – И замри!..

В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился – и вовремя. Глянул – опять двое идут, но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы на изготовку. И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы по двое шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры и что немцы всерьез озадачены и неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки.

Но он-то их видел, а они его нет, и поэтому козырной туз был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем больше мог он им ударить. Только уж спешить здесь нельзя было, и Федот Евграфыч всем телом в мох впечатывался и даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставят, пусть укажут, куда поиск ведут, а там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза...

Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится: все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Васков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал и ни на миг о Четвертак не позабыл. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккурат в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться надо было, дышать перестав, раствориться во мхах да

кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и шарахнуть из своей родимой да немецкого автомата.

Судя по всему, фрицы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были на Осянину с Комельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб слишком: девчата обстрелянными были, соображали, что к чему, и свободно могли либо затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней.

Диверсанты напрямую вышли, оставляя куст, где Четвертак пряталась, метрах в двадцати левее. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфыч уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же осторожно снял автомат с предохранителя.

Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между Четвертак и Васковым, и с этого мгновения спины их уже были бы подставлены охотничьему прищурю старшины.

С шумом раздался кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через поляну, наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.

– А-а-а...

Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог.

Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Васков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули, что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, но за спиной раздался треск и топот, и он догадался, что правый дозорный бежит сюда.

Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только главное решил – увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной гряды, к лесу.

Он не видел, попал ли в кого, не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться надо было, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж их-то, последних, непременно уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.

Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, уходя от пуль, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и шумел. Кусты ломал, топал, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть.

За одно он почти был спокоен: немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для этого оставалось, и, главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой: с оглядкой бегали. Поэтому легко он пока уходил, пока нарочно дразнил фрицев, злил их, чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились и не поняли, что один он здесь, если строго судить. Один.

Опять же туман помогал – та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том

молоке не то что человек – полк свободно бы спрятался. Васков в любой момент мог в облако это нырнуть – и ищи его! Но беда в том была, что белесые языки эти к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу норовил фрицев вывести и поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уж совсем неумоготу становилось. А потом опять выныривал: здрасте, фрицы, я живой...

А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках, случалось, из человека сито-решето делали, а тут пронесло. Вдосталь в салочки со смертью наигрался, но до леса не один добежал – вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат шелкнул в последний раз и замолк. Патроны кончились, перезарядить нечем было, и так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке – безоружным.

Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали – только щепка летела. Теперь можно было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало, но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у них такое создалось, что, будь старшина на месте их командира, тоже бы орден за «языка» не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню.

И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде не должны, как тут же в руку ударило. В мякоть, пониже локтя, и Федот Евграфыч впопыхах-то не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло. Несильно, но густо: пуля вену тронула. Похолодел Васков: с дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться нужно, рану перевязать, передохнуть, тут сквозь цепь не поперешь, не оторвешься. Одно оставалось – к болотам отходить. Ног не жалея.

Все он вложил в этот бег без остатка. Сердце уж в глотке где-то булькало, когда к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что пять их осталось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими ногами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями.

Как через болото до острова брел – начисто из головы выскочило. Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился: трясло его, било, зубы пересчитывая. И рука ныла. Ломило ее от сырости, что ли...

Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфыч вспомнить не мог. Выходило, немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая – немцы отошли. Туман уплотнился к рассвету, вниз осел, и от мокряди той пробирало Васкова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла, рука аж до плеча в грязи болотной была, дырку, видать, залепило, и старшина отколупывать ее не стал. Замотал сверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся.

За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало сполохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке, и Федот Евграфыч, трясясь в ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было – прыгать, и он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал. Можно было и оглядеться.

С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Васков ни вглядывался. Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была невелика: по их понятиям, болото непроходимым было, и, значит, старшина Васков давно для них утопленник.

А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфыч особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не было, в той стороне, наоборот, жизнь была: спирта полкружечки, яишенка с салом да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна, но помощь оттуда что-то не шла и не шла, и поэтому он все-таки туда поглядывал.

Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти до пятна этого хотел, посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался, рассветало уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной топи. Понял

и сразу вспомнил, что у приметной сосны осталось теперь пять вырубленных им слег. Пять – значит, боец Бричкина полезла в топь эту, трижды клятую, без опоры...

И осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось, даже надежд, что помощь придет...

12

...И вспомнил вдруг Васков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходили. Вспомнил шепот Сони у левого плеча, растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуне из бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал:

– Не дошла, значит, Бричкина...

Глухо проплыл над болотом хриплый, простуженный голос, и опять все смолкло. Даже комары без звона садились тут, в гиблом этом месте, и старшина, вздохнув, решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Комельковой и Осяниной, надеялся, что живы. И еще думал о том, что всего оружия у него один наган на боку.

Оставь тут диверсанты хоть одного человека, лежать бы старшине Васкову носом в гниль, пока не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что шел он грудью на берег и даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили, и Федот Евграфыч без всяких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и напился вволю. А потом листок в кармане отыскал, скрутил из сухого мха сигарку, раздул «катюшу» и закурил. Теперь можно было и подумать.

Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных двадцать пять процентов противника. Проиграл потому, что не смог сдержать немцев, что потерял ровно половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не знал он, в какой стороне искать теперь диверсантов. Горько было Васкову. То ли от голода, то ли от вонючей сигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто осы: только жалили, а взятка не давали...

Конечно, к своим надо было добираться. Две остались у него девчоночки, зато самые толковые. Втроем они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен был он, как командир, сразу два ответа подготовить: что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось: сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть.

Вчера в беготне немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфыч шел по ним, как по карте, разбирался, что к чему, и считал. И по счету этому выходило, что немцев бегало за ним никак не более десяти: то ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало пока на дюжину, потому что накануне целиться было некогда.

Так, по следам, выбрался он на опушку, откуда опять распахнулись и Вось-озеро, и Синюхина гряды, и кустарнички с соснячком, что уходили правее. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтоб осмотреться, но никого – ни своих, ни чужих – заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье, благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики, и две русские девчоночки с трехлинейками в обнимку.

Как ни заманчиво было девчат в камнях тех отыскать, старшина из лесу не высунулся. Нельзя было ему собой рисковать, никак нельзя, потому что при всей горечи и отчаянии побежденным он себя не признавал даже в мыслях и война для него на этом кончиться не могла. И, нагнавшись на простор и безмятежность, Федот Евграфыч снова нырнул в чащобу и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтова озера.

Тут расчет прост был, как задачка на вычитание. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и, хоть ночи белыми были, соваться в неясность им было несподручно. Ждать им следовало до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера, чтобы в случае чего отход иметь не в болота. Потому-то и потянул Федот Евграфыч от знакомых камней перешейка в неизвестные места.

Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в лесу, только птицы поигрывали, и по щебету их Федот Евграфыч понимал, что людей поблизости нет.

Так пробирался он долго; стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и ищет теперь диверсантов там, где их нет. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье собственном охотничьем засомневался, только встал, чтобы обдумать все сызнова, взвесить, как впереди заяц выскочил. Вылетел на полянку и, не чуя Васкова, на задние лапки привстал, назад вглядываясь. Вспуганный заяц был, и испуганный людьми, которых знал мало, и потому любопытничал. И старшина совсем как заяц уши наострил и стал туда же глядеть.

Однако, как он ни вглядывался, как ни слушал, ничего там необыкновенного не обнаруживалось. Уж и заяц в осинник сиганул, и слеза Федота Евграфыча прошибла, а он все стоял и стоял, потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам. И потому тихонько, тенью скользкой, двинулся туда, куда этот заяц глядел.

Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где покрытое. Васков шагнул не дыша, отвел рукой кусты и уперся в древнюю, замшелую стену въехавшей в землю избы.

«Легонтов скит», – понял старшина.

Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую травой дорогу и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынув наган и до звона вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидел примятую траву, невысохший след на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад.

Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же немцы дверь в заброшенном скиту выломали, – значит, так было нужно. Значит, убежище искали: может, раненые у них имелись, может, спрятать что требовалось. Иного объяснения старшина не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз в чашобу и замер.

И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все двенадцать. Одиннадцать поклажу несли (взрывчатка, определил старшина), а двенадцатый сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а остальные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту.

Жрали комары Васкова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух шагах от немцев сидел, наган в кулаке тиская, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то знал он восемь фраз из разговорника, да и то если их русский произносил – нараспев.

Но гадать не понадобилось: старший, что в центре стоял и к которому они в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом.

Наконец-то Васков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время: немцы не по ягодки к Синюхиной гряде направлялись. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера крендели выписывать и упорно целились в перемычку. И шли туда сейчас налегке брешь нащупывать.

Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало – оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться.

Два автомата в этой избе сейчас было, за дверью скособоленной. Целых два – богатство, а как взять это богатство, Васков пока не знал. На рожон лезть после бессонной ночи, с простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерок тянет, просто ждал, когда немец из избы вылезет.

И дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою гибель – пить им там, что ли, захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от стены и к колодцу направился. И тогда Васков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спустил курок. Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него, хотел было вскочить, да чудом уловил вороненый блеск ствола в щели перекошенной двери и замер. Второй – тот, раненый – прикрывал своего, все видел, и бежать к колодцу значило получить пулю.

Похолодел Васков: даст сейчас подбитый этот очередь. Просто так, в воздух, гулкую, тревожную, – и все. Вмиг притапают немцы, прочешут лес, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь.

Только не стрелял что-то этот немец. Ждал чего-то, водил стволом настороженно и не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не звал. Ждал... Чего ждал?...

И понял вдруг Васков. Все понял: себя спасает, шкура фашистская. Плевать ему на умирающего, на приказ, на друзей своих, что к озерам ушли; он сейчас только о том думает, чтоб внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится и об одном лишь молится: как бы втихую отлежаться за бревнами в обхват толщиной.

Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула, совсем не героем, и, поняв это, старшина вздохнул с облегчением.

Сунув наган в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, снял автомат, сумку с запасными обоймами с пояса и незамеченным вернулся в лес.

Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал – и пронесло. Вломился в соснячок, что к гряде вел, и только тогда отдышался.

Здесь свои места были, брюхом исползанные. Здесь где-то девчата его прятались, если не подались на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае чего, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что выполнили они приказ его слово в слово. Не верилось и не хотелось верить.

Тут он передохнул, послушал, не слышно ли где немцев, и осторожно двинулся к Синюхиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда все еще живы были. Все, кроме Лизы Бричкиной...

Все-таки отошли они. Недалеко, правда, – за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот Евграфыч про это не подумал и, не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял вдруг, что один остался, совсем один, с пробитой рукой, и такая тоска тут на него навалилась, так все в голове спуталось, что к месту этому добрел уже совсем не в себе. И только на колени привстал, чтоб напиток, шепот услышал:

– Федот Евграфыч...

И крик следом:

– Федот Евграфыч! Товарищ старшина!..

Голову повернул, а они через речку бегут. Прямо по воде, юбок не подбрав. Кинулся к ним, тут, в воде, и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют, грязного, потного, небритого...

– Ну что вы, девчата, что вы!..

И сам чуть слезы сдержал. Совсем уже с ресниц свисали: ослаб, видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Комелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить.

– Эх, девчонки вы мои, девчоночки! Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть вполглазика?

– Не хотелось, товарищ старшина...

– Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите. Или Федей, как маманя звала...

В кустах у них мешки сложены были, скатки, винтовки. Васков сразу к сидору своему кинулся. Только развязывать стал, Женя спросила:

– А Галка?...

Тихо спросила, неуверенно: поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Старшина не ответил. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Налил в три кружки, хлеба наломал, сала нарезал. Роздал бойцам и поднял кружку.

– Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак – в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в межозерье, противника кружим. Сутки!.. И теперь наш черед сутки выигрывать. А помощи нам не будет, и немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренок наших, а там и бой пора будет принимать. Последний, по всей видимости...

13

Бывает горе – что косматая медведица. Навалится, рвет, терзает – света невзвидишь. А отвалит – и ничего, вроде можно дышать, жить, действовать. Как не было.

А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собой мелочь эта такое тянет, что не дай бог никому.

Вот такой пустячок Васков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться стали. Весь сидор свой перетряхнул, по три раза вещь каждую перещупал – нету, пропали.

Запал для второй гранаты и патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала просто кусок железа. Немой кусок, как булыжник.

– Нет у нас теперь артиллерии, девоньки.

С улыбкой сказал, чтоб не расстраивались. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли.

– Ничего, Федот, отобьемся!

Это Комелькова сказала, чуть на имени споткнувшись. И покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть.

Отстреливаться – три винтаря, два автомата да наган. Не очень-то разгуляешься, как с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка.

– Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издаля не стреляй. Через речку из винтовки бей, а автомат побереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?

– Поняла, Федот...

И эта запнулась. Усмехнулся Васков:

– Федей, наверно, проще будет. Имечко у меня некруглое, конечно, но уж какое есть...

Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали и появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты, угрозу эту почувствовав, долго к воде не совались, хоть и мелькали в кустах на той стороне.

У широкого плеса Федот Евграфыч девчат оставил, лично выбрав им позиции и ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Комелькова собственным телом фрицев остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтобы вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому что Васков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять тогда лишь, когда фрицы полезут в воду. А до этого – и дышать через раз, чтоб птицы не замолкали.

Все под рукой было, все подготовлено: патроны загодя в каналы стволов досланы и винтовки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб.

А там, на той стороне, все наоборот было: и птицы примолкли, и сорока надрывалась. И все это сейчас Федот Евграфыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтоб поймать момент, когда фрицам надоест в гляделки играть.

Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул: выстрел – он всегда неожиданный, всегда вдруг. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Васков глянул – на плесе немец из воды к берегу на карачках лез, к своим лез, назад, и пули вокруг него шелкали, а не задевали. И фриц бежал на четвереньках, волоча ногу по шумливому галечнику.

Тут ударили автоматы, прикрывая подбитого, и старшина совсем уж было вскочить хотел, к своим кинуться, да удержался. И вовремя: сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделывать было нельзя, потому что затвор после выстрела пере-дернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфыч взял автомат. И только нажал крючок – напротив в кустах два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой.

Одно знал Васков в этом бою – не отступать. Не отдавать немцу ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно – держать. Держать эту позицию, а то сомнут – и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был ее последним сынком и защитником. И не было во всем мире больше никого – лишь он, враг да Россия.

Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом: бьют еще винтовочки или нет? Бьют – значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!..

И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла, да так ловко, что он и заметить не успел, подшиб ли кого. Втянулись в кусты, постреляли для остротки и снова замерли, и лишь дымок еще висел над водой.

Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось, но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз он в этом месте так просто не полезет. Он где-то еще попытается щелочку найти – скорее всего, выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут, на своем месте, на всякий случай оставить кого-либо из девчат...

Не успел Васков своей диспозиции додумать – шаги за спиной помешали. Оглянулся – Комелькова напрямиком сквозь кусты ломит.

– Пригнись!

– Скорее!.. Рита!..

Что – Рита, не стал Федот Евграфыч спрашивать: по глазам понял. Схватил оружие, раньше Комельковой домчался. Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упиравшись спиной в ствол. Силилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь.

– Чем? – только спросил Васков.

– Граната...

Положил Риту на спину, за руки взял – не хотела принимать, боли боялась. Отстранил мягко и понял, что все... Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все – и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень.

– Тряпок! – крикнул. – Белье давай!

Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое.

– Да не шелк! Льняное давай!

– Нету...

– А, леший!.. – Метнулся к сидору, начал развязывать. Затянул, как на грех...

– Немцы... – одними губами сказала Рита. – Где немцы?

Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь.

Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыталась сказать – не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшие, – зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотив. Наложил сверху рубаху, стал бинтовать.

– Ничего, Рита, ничего... Он поверху прошел, кишки целые. Заживет...

Полоснула от берега очередь. И снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Васков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови.

– Иди... туда иди... – с трудом сказала Рита. – Женька там...

Рядом прошла очередь. Не поверху – по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре: немцы перешли реку.

А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался, все дальше и дальше уходя в лес. И Васков понял, что Комелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да не всех, еще где-то мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом и каждая секунда могла оказаться последней.

Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми, искусанными губами. Хотел винтовку прихватить – не смог и побежал в кусты, чувствуя, что с каждым шагом уходят силы из пробитой, ноющей зубной болью левой руки.

Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое...

Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренные матерью перед самой войной гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности.

Особенно одна комбинашка была – с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул:

– Ну, Женька, это чересчур. Куда готовишься?

– На вечер! – гордо сказала Женька, хоть и знала, что он имел в виду совсем другое.

Они хорошо друг друга понимали.

– На кабанов пойдешь со мной?

– Не пушу! – пугалась мать. – С ума сошел – девочку на охоту таскать.

– Пусть привыкает! – смеялся отец. – Дочка красного командира ничего не должна бояться.

И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А еще танцевала на вечерах «цыганочку» и матчиш, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы, не влюблялась.

– Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Докладывает мне сегодня: «Товарищ Евг... генерал...»

– Врешь ты все, папка.

Счастливым было время, веселое, а мать все хмурилась да вздыхала: взрослая девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя... Непонятно ведет: то тир, лошади да мотоцикл, то танцующие до зари, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами да письма в стихах.

– Женечка, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городке говорят?

– Пусть болтают, мамочка!

– Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве ж можно?

– Нужен мне Лужин!.. – Женька передергивала плечами и убегала.

А Лужин был красив, таинствен и героичен: за Халхин-Гол имел орден Красного Знамени, за финскую – Звездочку. И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась...

Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна-одинешенька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел и не то чтобы воспользовался беззащитностью – приле-

пил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора, нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо – Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все кончится благополучно.

И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несурезно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет.

А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убежать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добились ее в упор, а потом долго смотрели на ее и после смерти гордое и прекрасное лицо...

14

Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать она будет долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам.

Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы: она поняла, что Женьки больше нет...

А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед ней, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная, черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее.

Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын ее оставался сиротой, оставался совсем один на руках у болезненной матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь.

Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь.

– Женья погибла?

Он кивнул. Потом сказал:

– Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.

– Женья сразу... умерла?

– Сразу, – сказал он, и она почувствовала, что он говорит неправду. – Они ушли. За взрывчаткой, видно... – Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: – Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!

Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая руку.

– Болит?

– Здесь у меня болит, – он ткнул в грудь, – здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

– Ну зачем так... Все же понятно: война...

– Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом!

– Не надо, – тихо сказала она. – Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал.

– Да... – Васков тяжело вздохнул, помолчал. – Ты полежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнутся – и концы нам. – Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом. – Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним.

– Погоди... – Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо. – Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. Аликот зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал.

– Не тревожься, Рита, понял я все.

– Спасибо тебе. – Она улыбнулась бесцветными губами. – Просьбу мою последнюю выполнишь?

– Нет, – сказал он.

- Бессмысленно это, все равно ведь умру. Только намучаюсь.
- Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.
- Поцелуй меня, – вдруг сказала она.

Он неуклюже наклонился, застенчиво ткнулся губами в лоб.

- Колючий... – еле слышно сказала она, закрыв глаза. – Иди. Завали меня ветками и иди.

По серым, проваленным щекам ее медленно текли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту ветками и быстро зашагал к речке, навстречу немцам.

В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие...

Он скорее почувствовал, чем расслышал, этот слабый, утонувший в ветвях выстрел. Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огромной вывороченной ели.

Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймили пулевое отверстие, и Васков почему-то особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.

Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом. Быстро вырыл, еще быстрее зарыл и, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла, накатами, и Комелькову он схоронил плохо. И все время думал об этом, и жалел, и шептал пересохшими губами:

- Прости, Женечка, прости...

Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и он хотел сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил – только боль. Во всем теле...

Белые сумерки тихо плыли над прогретыми камнями. Туман уже копился в низинах, ветерок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой. А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грозно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале его нагана.

Правда, была еще граната без взрывателя. Кусок железа. И спроси, для чего он таскает этот кусок, он бы не ответил. Просто так таскал, по старшинской привычке беречь военное имущество.

У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было...

Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь только ему, он вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты.

В сотне метров начиналась поляна с прогнившим колодезным срубом и въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц.

В кустах у поляны он замер и долго стоял не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина терпеливо ждал. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой.

Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал – переливал тяжесть по капле, чтоб не скрипнула ни одна веточка. В этом странном, птичьим танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине.

Не пошел – поплыл. И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, пока успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож сейчас и, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру, заносил финку для одного-единственного, решающего удара.

И еще копил силы. Их было мало. Очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь.

Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоченную дверь, прыжком влетел в избу:

– Хенде хох!..

А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал, в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот прыжок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, немца швырнуло в стенку, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал:

– Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!..

И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал...

Нет, не крика они испугались, не гранаты, которой размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли. Мордами вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, прыткий самый, уж на том свете числился.

И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично связал и заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе, и смеялся сквозь эти слезы, и кричал:

– Что, взяли?... Взяли, да?... Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро!.. А не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, даже если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..

А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся...

Тот последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть выстрелить, если сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец.

И лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что навстречу идут свои. Русские...

Эпилог

«...Привет, старик!

Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непыльном уголке. Правда, комары проклятые донимают, но жизнь все едино райская! Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам. Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами. А уж грибов!..

Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан, седой, коренастый, без руки, и с ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федотычем (представляешь?), а своего старикана он именует посконно и домотканно – тятей. Что-то они тут стали разыскивать – я не вникал...

...Вчера не успел дописать, кончаю утром.

Здесь, оказывается, тоже воевали... Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете.

Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу – она за речкой, в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и – не решился.

А зори-то здесь тихие-тихие, только сегодня разглядел...»

Самый последний день...

1

– Значит, на пенсию решил, Семен Митрофанович? Не желаешь дождаться шинели цвета маренго?

– И в этой ничего. Привык...

Семен Митрофанович Ковалев стеснялся вести разговоры с молодыми сотрудниками. Они и смеялись не так, и курили не этак, и даже форма на них сидела куда уютнее, чем на нем, хотя он форму свою носил аккуратно четверть века.

Приказ еще не был подписан, но все уже знали, что младший лейтенант Ковалев, выслужив и по годам, и по здоровью полный государственный пенсион, подал рапорт и загодя отправил семью в деревню. Сделал он это по своей воле и вроде бы ни с того ни с сего, что удивило не только сослуживцев по отделению, но и тех в управлении, кто знал Семена Митрофановича. А знали его многие, и даже сам комиссар товарищ Белоконь здоровался с ним за руку и всегда называл только по имени-отчеству.

Семен Митрофанович аккуратно являлся на службу, дисциплинированно, точно ретивый первогодок, слушал инструктаж и делал, что приказывали. Учитывая возраст и ранения, его давно уже освободили от оперативной работы, а поручали дела тонкие – воспитательные или конфликтные. И Семен Митрофанович не обижался, потому что всякому делу положен свой возраст, и рыпаться тут несолидно. Кроме того, он умел улаживать ссоры, доводить до добрых слез свихнувшихся девиц и был невозмутим во всех случаях жизни.

Даже осложненные взаимным недоверием профилактические беседы с молодежью младший лейтенант Ковалев проводил лучше иных дипломированных специалистов. При всей невозмутимости он никогда не скрывал своих чувств и относился к аудитории не как к поколению в целом, а как к группе, состоящей из вполне конкретных личностей. В соответствии с этим он кого-то уважал, а кого-то любил, кого-то жалел, а кого-то откровенно ненавидел, но таких, к которым он относился бы безразлично, не было, и молодое население микрорайона активно платило ему той же монетой.

– Политически товарищ Ковалев человек девственный, – сказал года два назад начальник отделения комиссару Белоконю – просто пришлось к случаю.

Начальник отделения любил выражаться книжно и иногда позволял себе щегольнуть этим. Однако в тот раз комиссар глянул так странно, что он сразу заторопился:

– Но девственность восполняется большим опытом, товарищ комиссар. Большим опытом и исключительным старанием...

Комиссар по-прежнему смотрел необыкновенно, и начальник сокрушенно примолк. Тогда Белоконь спросил благожелательно:

– На рыбалку не ездили в этом году?

И все книжные наслоения тут же вылетели из головы собеседника. И он воскликнул:

– Во какая!..

Да, в милиции знали про старую дружбу комиссара и Семена Митрофановича, хотя никто никогда не видел их вместе, и младший лейтенант безропотно тянул свою ляжку, не прячась за широкую спину начальника управления. Поначалу сам вызвался в оперативную группу: вязал бандитов, преследовал воров и за пять лет к четырем фронтовым ранениям приплюсовал еще четыре. Последнее было особенно тяжелым: пуля пробила легкое. В госпиталь часто навещался капитан Орлов – зам по оперработе. Приносил яблоки да баранки, а перед выпиской сказал:

– Отдохнуть требуется, Семен Митрофанович. Путевку мы обеспечили, а кроме путевки, положен тебе еще месяц. Так, может, тебе в Москву с Кавказа не возвращаться? Может, прямо к своим, в деревню?

– Да нет, вернуться придется, товарищ капитан, – как всегда, тихо и чуть виновато ответил Ковалев. – Своих-то у меня нет. И пункта рождения тоже нету.

– Как так нету?

– А через него аккурат фронт семь месяцев проходил, товарищ капитан. Так что там и труб не осталось. То есть совсем ничего: просто пустырь с бурьяном, вот ведь какой факт получается.

– А родные?

– В наличии не имеется.

Капитан Орлов был упрям и, промолчав в этот раз, в день отъезда подчиненного на курорт сунул, не глядя, адрес:

– К моим поедешь. Под Новгород.

Семен Митрофанович поехал: зачем же обижать хорошего человека? Местность ему понравилась. С войны здесь все задичало, и на семь сел приходилось полтора мужика. Ковалев охотно чинил старые ходики, менял рамы, перекрывал крыши, подпирал скособоченные избы, делал все, что просили, с удовольствием выпивал стаканчик, но от второго решительно отказывался, потому что очень боялся заночевать в лично отремонтированном хозяйстве. Сделав много доброго, он так никого и не осчастливил, что гордые новгородки объясняли исключительно последствиями ранения. В следующий отпуск Ковалев опять поехал под Новгород и вдруг довел до полного онемения все местное общество, взяв за себя немолодую солдатку с тремя сопливыми сиротами в придачу.

– Ты что, Ковалев, трехнулся? – деликатно спросил лихой капитан Орлов. – Да за тебя любая двадцатилетняя – толечко пальцем помани!..

– Двдцатилетняя – она и без меня не пропадет, товарищ капитан, а тут – детишки. Младшие-то конфет в обертках сроду не видали, вот ведь какой факт получается.

В каких обертках он сам показывал конфеты усыновленным детям, неизвестно, но вздыхать не вздыхал, и настроение у него вроде не портилось. С комнатой ему помогли, жена уборщицей в интернат пошла, а там – потихонечку да полегонечку – и дети подрастать стали. Теперь их, правда, пятеро уже было.

И вот нежданно-негаданно младший лейтенант Ковалев решил оставить службу. Сдал рапорт положенным порядком и, пока двигался этот рапорт из кабинета в кабинет, продолжал служить старательно и усердно. И помалкивал. И начальство тоже помалкивало.

2

В тот день он явился на службу, как всегда, за четверть часа до положенного срока. Доложил дежурному, расписался в книге и, тоже как всегда, пристроился покурить с ребятами из ночной смены. Не просто покурить – разведать новости. И не новости вообще – этого добра он за четверть века в милиции наслушался, навидался и наглотался, – а того лишь, что его касалось. Его участка. Подшефного.

Это были четыре квартала – добрый кусок современных пятиэтажек, несколько чудом уцелевших деревяшек да два раскоряченных несуразных семиэтажных дворца, сооруженных в эпоху архитектурных излишеств. Теперь излишества эти обветшали и уже сыпались на голову, из-за чего над вторыми этажами пришлось соорудить грубую рабочую сеть.

Казалось бы, все было в порядке, но Семен Митрофанович домов этих все-таки не любил. Понимал, что поступает не по справедливости, сердился на себя – и не любил. Сердцу не прикажешь, даже если сердце это бьется под милицейским мундиром.

Поэтому и выпрашивал о них всегда особо дотошно:

– Из девятого дома звонков не было? Насчет магнитофонов там, шумов всяких?

– Нет. Из твоих, Митрофаныч, только один Кукушкин набедокурил: напился, шумел.

– Кукушкин из третьего «Б»? Слесарь-водопроводчик?

– Он самый.

Младший лейтенант достал толстую записную книжку и только успел записать про Кукушкина, как дежурный крикнул:

– Митрофаныч! Начальник просит. Давай на третьей скорости!..

Начальник отделения зимой и летом ходил в темных заграничных очках, и Ковалев не любил с ним разговаривать. Да и как можно любить разговор, когда неизвестно, в какую сторону косится твой собеседник?

– Финиширует ваша служба, товарищ младший лейтенант, – сказал начальник, после того как они поздоровались и самую чуть потолковали о здоровье. И вздохнул: – Как говорится, финита ля... – Что следовало за этим «ля», начальник произнести не решился и переменял разговор: – Никаких нераскрытых или там незакрытых за вами не числятся?

– Никак нет.

– Тогда могу доложить, что наступает у вас последний парад. – При этих словах начальник решил встать, и Ковалев в беспокойстве оглянулся, поскольку никак не мог понять, куда в данный момент смотрит его начальник. Но начальник, как видно, смотрел прямо на него. – Товарищ комиссар Белоконь просит вас, товарищ младший лейтенант, прибыть к нему в десять часов ноль минут по известному вам рапорту...

Они еще маленько поговорили о разных вещах – для вежливости, – и начальник отпустил его, пожав на прощание руку и приказав выделить в распоряжение младшего лейтенанта служебную машину.

Все, казалось бы, уже оставалось за кормой, уже начало отплывать, растворяясь в прошлом, но Ковалев не мог сесть вот так, запросто, в служебную «Волгу» и сказать шоферу: «В управление!» Не мог, потому что, несмотря на слова начальника о последнем параде, все еще продолжал служить, каждой клеточкой ощущая себя частицей огромного и очень ответственного аппарата. И поэтому от начальника он прямехонько потопал к дежурному, которому и доложил, что откомандирован в управление для беседы с товарищем комиссаром.

– На «Волге» обязательно хочешь ехать? – спросил дежурный.

– Нет, не обязательно, – сказал старшина. – Все равно.

– А все равно, так будь другом, отконвоируй задержанную. Ребята, понимаешь, все в отпуске: лето...

Задержанной оказалась худая, как воробья, девчонка лет двадцати с крохотными сережками-слезками в маленьких ушах. На грязном – в пятнах помады, потеках туши и грима – лице свежели яркие пятна синяков и злые, неукротимые глазищи. Короткое ситцевое платье было заляпано грязью, в двух местах разорвано: при движении сверкало загорелое тело и наивные розовые трусики.

– В парке нашли, – тихо сказал дежурный. – Били ее трое, а кто – молчит.

– Может, не знает?

– Знает! – отрезал дежурный. – Знает, кто бил и за что, раз на помощь не звала. Наши ведь случайно на них напоролись, и она же первая заорала: «Валера, беги!»

– Задержали кого?

– Нет. Кусты, темень, а тут эта чертовка визжит и кусается. Но обрати внимание: трое, и среди них Валера.

– Это насчет...

– Да, да, ограбление пенсионеров Веткиных. Помнишь, что тогда взяли? Ерунду всякую, мелочь, а бухарский ковер, которому цена пол-«москвича», не тронули. Почему?

– Тяжело с ковром-то...

– Правильно, Ковалев. А это значит: транспорта у них не было. А женщина, которая той ночью встретила троих с чемоданами, показала, что одного из них другие называли Валерой.

– Ага!..

– Вот потому-то мы за эту девчонку и держимся, – сказал дежурный так, будто лично вел следствие. – Это она еще с ночи психованная, а успокоится – колотья начнет, что полешко...

В связи с таким поручением младший лейтенант Ковалев отбыл на свидание с комиссаром Белоконем в душном кузове зарешеченного газика. Влез он в него, когда задержанная уже сидела возле передней решетки, вцепившись в переплет худыми пальцами с обломанными ногтями. Она искоса, мельком глянула на него и отвернулась, быстро поправив изорванное платье, чтоб не сверкали трусики. Как ни запрятано было это ее произвольное движение, Ковалев отметил его, а отметив, решил непременно доложить об этом следователю: девчонка, которая стесняется старого милиционера, совсем не такая уж распущенная и бывалая, какой изо всех сил старается казаться.

– Ну, с этой не заскучаешь! – подмигнул шофер, закрывая за ними дверцу согласно инструкции.

Как положено, младший лейтенант сел сзади, у выхода, где всегда трясло и швыряло. Поэтому он сразу, пока машина еще стояла, поторопился закурить и, прикуривая, опять заметил яростный карий глаз. Протянул пачку:

– Хочешь?

Она живо глянула и рассмеялась:

– «Прибойчиком» угощаете? Тронута, сдвинута, почти опрокинута!..

Ковалев нисколько не обиделся: испуганный щенок и хозяина кусает. Спросил заинтересованно:

– Сигареток достать?

Машина еще стояла: шофер балагурил с ребятами, что расходились на посты и объекты. Младший лейтенант застучал, загрохал ногами. Шофер сразу же открыл, вытаращился:

– Ты чего?

Семен Митрофанович рубль протянул – мог бы, конечно, и мелочь, да не знал, почему нынче сигаретки для девчат.

– Сигареток купи пачку.

– Сигареток? – Шофер похлопал глазами. – Каких сигареток?

– «Советский Союз»! – крикнула из угла девчонка. – Я патриотка!..

Шофер обернулся на удивление быстро: видно, и его заинтересовала неукротимая пассажирка. Сунул сигареты и сдачу, шепнул:

– Сорок копеечек, между прочим...

Опять с лязгом закрыл дверь. Семен Митрофанович аккуратно спрятал мелочь в кошелек, протянул сигареты задержанной.

– Не по карману куришь.

– А почему же не курить, если угощают? – спросила девчонка, прикуривая. – Вон даже милиция... не удержалась.

Газик тронулся, и, пока шофер неторопливо выруливал на магистральную улицу мимо бесконечных новостроек, младший лейтенант откровенно разглядывал девицу. Разглядывал растрепанные, много раз перекрашенные волосы, дешевенькое платьице, худые, исцарапанные руки, беззащитные плечи, неожиданно элегантные туфельки последней моды. Разглядывал неторопливо, основательно – и думал.

Он умел разговаривать с молодежью не потому, что сообщал что-то новое, и не потому, что никогда не повторял общеизвестного. Умение его, которому поразились даже в управлении, держалось на том, что Ковалев каким-то чудом всегда угадывал, что за человек сидел перед ним. И начинал не беседу вообще, не лекцию, а конкретный и неповторимый разговор, который касался только их двоих. И поэтому сейчас, разглядывая эту худую, некормленную и неухоженную, болезненно напряженную девочку, он думал о том, что довело ее до этого, какая у нее может быть семья и почему девочка из семьи этой убежала.

– Отец-то давно вас бросил?

По тому, как дернулась девочка, он понял, что попал в точку. Ниточка была в его руках, но, чтобы не оборвать ее, следовало медленно, неторопливо распутать весь клубок. Главное было удивить, и это получилось.

– А у меня он полковник. Летчик-истребитель, – с вызовом сказала она. – Он за каждый полет больше получает, чем вы за три месяца.

– Возможно, – миролюбиво согласился Ковалев. – Только сволочь он, летчик твой, раз маме не дает ни копейки.

Девочка вдруг резко повернулась к нему, странно и зло ощерившись и сразу став болезненно некрасивой:

– Врете вы все! Думаете, не понимаю, откуда знаете, да? Вы милиция, вы уж всех допросили! Всех!..

Он молчал, дружелюбно и серьезно глядя на нее. Задержанная, выкричавшись, сразу смолкла и снова ухватила за сигарету. Семен Митрофанович не торопился с разговором, оставляя продолжение за нею, потому что дорожил он пока не словами, а интонацией. И еще он знал твердо, что долго она не умолчит.

– Мама... – с непонятым ожесточением сказала вдруг девчонка. – Мама, мамочка...

И опять замолчала, яростно затягиваясь. И младший лейтенант промолчал.

– Думаете, легко девчонкам, которые без отцов? – не глядя, тихо спросила она. – Ну, может, у которых матери – мамы, тем еще ничего, а другим... – Она опять помолчала. – Знаете, сколько нам на производстве платят? Нам, у которых специальности никакой нет? Только-только на еду да на дорогу и хватает. Но ведь и одеться модно тоже хочется. А у вас на всех один разговор...

– Нет, – сказал Семен Митрофанович. – Нет у нас такого разговора. Обманули тебя.

– А везете куда?

– В управление. Положено так.

Он глядел на ее туфельки: она все двигала ими, под лавку запикивала, прятала. Не случайно, ой не случайно, а раз так, то должен в голове ее вертеться один вопрос. И он все время ждал этого вопроса. И дождался.

– Посадят меня?

– Нет, – как можно простодушнее сказал он. – Наверяд ли. Туфли, может, и отберут...

Не удивилась, почему туфли отберут. Совсем не удивилась, только вздохнула:

– Что же мне, босиком по городу идти?

– Зачем же брала? Знала ведь, что ворованное...

– Не хотела я брать их. Как чувствовала...

– За это били?

– Нет... – Она вдруг странно поглядела на него, криво усмехнулась. – Влезли в душу и ворочаетесь? И вы такая же сволочь, как все...

И отвернулась. Младший лейтенант закурил новую папиросу и опять терпеливо стал ожидать вопросов. Обычно, правда, он сам вопросы задавал, разговор направляя, но сегодня любая его неточность могла вновь захлопнуть ее чуть приоткрывшееся сердечко, и поэтому Семен Митрофанович предпочитал не спешить.

– А что, пистолеты у вас настоящие или так, для форсу кобуры носите? – вдруг, не глядя, спросила она.

– Самые настоящие, – сказал Ковалев и для достоверности похлопал по пустой кобуре. – Мы без оружия ни на шаг.

– Почему? – Девочка оглянулась.

Ему очень хотелось, чтобы она заулыбалась, и, увидев в глазах ее слабые искорки, он обрадовался:

– Боимся! Страх у нас такой...

– Врете вы все! – Она все-таки улыбнулась и тут же, словно испугавшись, спрятала улыбку.

Машина остановилась, шофер знакомо посигналил, и младший лейтенант догадался, что прибыли и что сейчас после проверки въедут во внутренний двор управления. И впервые за всю службу пожалел, что знакомый путь оказался вдруг таким коротким.

3

В пустых и гулких коридорах управления девочка вздернула голову, вызывая зацокала каблукками и стала еще больше похожа на воробьюху. Ковалев, поглядывая на нее, все сдерживал улыбку: казалось, девчонка вот-вот суетливо и неунывающе зачирикает, заскачет и взлетит к потолку...

Возле кабинета следователя Хорольского младший лейтенант остановился. Усадил задержанную на стул у двери, погрозил пальцем, чтоб слушалась, одернул тужурку и только после этого постучал. Там что-то крикнули, Семен Митрофанович открыл дверь и спросил:

– Разрешите?

– Что еще?... – Следователь был молод и поэтому всегда хмур: ему казалось, что так он выглядит солиднее.

Ковалев вошел в кабинет, притворил за собою дверь, отрапортовал, с чем прибыл, и отдал пакет. Хорольский, не глядя на него, разорвал пакет: там лежал заводской пропуск и сопроводительная. Хмурясь, следователь долго читал сопроводительную, а младший лейтенант все так же дисциплинированно стоял у стола.

– Где арестованная?

– Задержанная, – тихо поправил Семен Митрофанович. – Она там, в коридорчике ждет. Я что хотел сказать, товарищ следователь, я хотел сказать, что надо бы ее отпустить. Она сверху только злая, и если к ней по-доброму, так она сама же придет потом и все расскажет, вот ведь какой факт получается. И еще: насчет работы. Может, с комсомолом связаться, чтоб над нею шефство...

– Давайте без советов, а? – недовольно сказал следователь. – Ваше дело – арестованную доставить и расписку получить. Ясно?

– Так точно. Только, похоже, запуталась девушка...

– Введите арестованную.

– Я хотел...

– Введите арестованную!..

Ковалев молча вышел, старательно пряча глаза от девочки. А та все ловила и ловила его взгляд, тиская в руках сигареты и спички. За дверью опять что-то прорычали, и Семен Митрофанович так и не успел ничего сказать. Просто приоткрыл дверь и махнул рукой, приглашая в кабинет.

И вошел следом. Следователь, не глядя, писал что-то за столом, и поэтому Ковалев, кашлянув, рискнул-таки на продолжение очень неприятного для себя разговора:

– Разрешите потом соображения доложить...

– Получите расписку, – не поднимая головы, сказал Хорольский.

Младший лейтенант протопал к столу, взял рваный конверт с подписью следователя, уголком глаза заметил суетящиеся по изодранному платью худые пальцы с обломанными ногтями, сказал негромко:

– Вы все-таки разрешите...

– У меня все, – с явным раздражением прокричал следователь. – Можете идти.

Выйдя из кабинета и тихо притворив за собою дверь, Семен Митрофанович был вынужден сразу же присесть на тот самый стул, где только что сидела девочка. Сердце его вдруг сжало, точно в горячих тисках, а в глазах поплыли неторопливые и веселые цветные шары.

«Молодой еще, – расстроено подумал он. – Ах, молодой, ах, горячий: напугает девчонку, озлобит...»

А сердце щемило, и воздух никак не хотел пролезать в легкие, как ни пытался Ковалев вздохнуть. Но он все время думал об этой девочке, и тревожился, и поэтому отсиживаться не

стал, а боковым коридором вышел к парадной лестнице. Тут он маленько пришел в себя и стал неторопливо подниматься на второй этаж, здороваясь почти с каждым встречным, потому что народу здесь было не в пример больше, чем в тех закоулках, которыми он вел девчонку к следователю. Поднявшись по лестнице, он прошел небольшой коридор, застланный толстой дорожкой, и приоткрыл тяжелые резные двери:

– Можно, Вера Николаевна?

– Семен Митрофанович? Здравствуйте, дорогой!..

В комнате этой, едва ли не единственной в управлении, никто никогда не курил – даже сам комиссар Белоконь. Не потому, что здесь хранились бочки с порохом, коробки с киноплёнкой или лежали дышащие на ладан сердечники, а потому, что здесь работала Вера Николаевна.

– Сергей Петрович ждет вас.

– Один там?

– У него полковник Орлов. Да вы проходите, Семен...

– Нет-нет, Вера Николаевна. – Ковалев упрямо затряс головой. – Нет. Зачем же? Я обожду.

Когда-то он служил под началом лихого, безрассудно смелого капитана Орлова. Но время шло, и за двадцать лет капитан вырос до полковника, а он – до младшего лейтенанта. Каждому – своя песня: он на это не сетовал. Но входить, когда старшие работают, не мог. Позволить себе не мог.

– Вы к окошку садитесь, – вдруг тихо сказала Вера Николаевна и поставила стул у раскрытого окна. – Что, Семен Митрофанович, сердце?

– Не могу сказать. – Он пересел к окну и виновато улыбнулся. – Раньше как-то не чувствовал такого факта.

Вера Николаевна порылась в сумочке и достала белую лепешку.

– Положите под язык.

– А что это?

– Конфетка мятная. Ну?

– Спасибо, – сказал Ковалев, сунув валидол в рот и причмокивая. – Холодит.

Из-за бесшумной двери вышел Орлов с кожаной папкой в руке. Он мельком глянул на коренастого младшего лейтенанта в тужурке из грубого сукна и вдруг заулыбался, отчего его сосредоточенное лицо сразу стало домашним.

– Митрофаныч!.. – Орлов шагнул к поспешно вставшему Ковалеву, руками надавил на погоны. – Сиди, сиди. Хорошо, что я тебя встретил...

Вера Николаевна, привычно поправив прическу, прошла в кабинет. Орлов присел перед Ковалевым на подоконник, сказал таинственно:

– Хочешь со мной работать?

– Да я же рапорт, товарищ полковник...

– Знаю. Знаю, потому и предлагаю: с Сергеем Петровичем согласовано.

– Ну какой из меня теперь оперативник? – усмехнулся Семен Митрофанович. – Года уж...

– А я не оперативником, я воспитателем хочу тебя назначить. На курсах оперработников. Ковалев улыбнулся, покачал седой, коротко стриженной головой.

– Добрый вы человек, товарищ полковник. Спасибо вам, конечно, большое, только образование-то у меня – семь классов до войны.

– Да ведь не в преподаватели, а в воспитатели, – несокрушимо улыбался Орлов. – Должность я такую хочу прошибить: воспитатель. Чтоб не только самбо да боксу учить, а слову доброму. Слово – оно ведь посильнее любого приемчика, верно?

Ковалев ответить не успел, так как из кабинета вышла Вера Николаевна и негромко сказала:

– Вас просят, Семен Митрофанович.

Комиссар Белоконь собирал шариковые ручки. Он скупал их в магазинах, получал бандеролями, привозил из командировок и канючил у знакомых. Коллекция занимала дома два шкафа, но поскольку подросшие внуки стали проявлять к ней чисто практический интерес, Сергей Петрович наиболее ценные образцы держал в служебном кабинете. Весь огромный комиссарский стол был завален этими ручками – пластмассовыми и металлическими, круглыми и гранеными, многостержневыми, цветными, с секретными, с фривольными фотографиями, с особой мастикой. Но гордостью коллекции была очень простая и очень элегантная ручка, привезенная Белоконем из Парижа; когда комиссар был в хорошем настроении, он подписывал бумаги именно этой ручкой. Полковник Орлов серьезно уверял, что ее подарил комиссару Белоконю сам комиссар Мегрэ: молодежь верила, немея от восхищения.

– Здравия желаю, товарищ комиссар, – сказал Ковалев. И добавил: – Прибыл по вашему приказанию.

А комиссар играл знаменитой ручкой, глядел на него и улыбался. Но Семен Митрофанович улыбаться в ответ не стал, а, наоборот, нахмурился.

– Что-то ты, брат, грозен сегодня, – сказал Сергей Петрович. – Уж больно ты грозен, как я погляжу! Ну, улыбнись, Семен Митрофанович!..

– Разрешите доложить, товарищ комиссар, – с неприступной серьезностью продолжал младший лейтенант. – Может плохо произойти, если не доложить.

– Ну давай, – с неудовольствием вздохнул Белоконь.

Ковалев доложил. Комиссар выслушал, нажал клавишу селектора:

– Следователя Хорольского срочно ко мне. С делом... – Он вопросительно посмотрел на Ковалева.

– Об ограблении супругов Веткиных.

– ...об ограблении супругов Веткиных. – Комиссар отпустил клавишу. – Садись, Семен Митрофанович. Закуривай.

– Нет, разрешите выйти, товарищ комиссар. Вы его при мне песочить будете, а это – нарушение...

– Садись!.. – нахмурился Белоконь. – Мне про этого Хорольского не ты первый докладываешь. Спесив да ретив, а толку пока – нуль.

Семен Митрофанович покорно вздохнул, но постарался устроиться в наиболее темном углу кабинета. Докладывая начальнику, он ни единым словом не обмолвился о грубости следователя, и все же ему было очень неприятно. Как тут ни крути, а выходило, что клепал он на сослуживца, используя личную симпатию высокого начальства, а это было совсем не по-мужски. И если бы не девочка та, не воробыха, не взгляд ее, которым проводила она его, никогда бы Ковалев и полсловечка при начальстве не уронил. А тут не мог. Права не имел воробыху эту забыть, крест на ней поставить. И не таких судьба общипывала до самого последнего перышка, и не помочь человеку при этом было просто невозможно. И плевать ему, в конце концов, что про него станет следователь по всем коридорам возить: он девочку сейчас защищал, а это поважнее закоулочных кривотолков...

Но все ж таки сел он так, чтобы Хорольский, в кабинет войдя, его не заметил. Вот, может, потому-то следователь быстренько все комиссару доложил, пока тот дело листал, ловко доложил и даже улыбнулся:

– Там у меня, товарищ комиссар, зацепочка сидит. Важная зацепочка: если нажать как следует – вся поколется. И кто ее бил, скажет, и за что, и где вещички, что у Веткиных взяли, тоже, возможно, скажет.

– А чем же зацепочка эта зацеплена? – спросил Белоконь.

Знал Семен Митрофанович начальника, давно знал, а удивился: до того миролюбиво, спокойно прозвучал вопрос. И сам комиссар, внимательно читающий каждую строчку тошего

дела, тоже выглядел сейчас таким добродушным грибок-пенсионером. Хорольский сразу приободрился, потыкал в страницы пальцем:

– Валера – обратите внимание – здесь. И Валера – здесь тоже.

– Поразительно! – сказал начальник. – Пока я читаю, позвоните, пожалуйста, в справочную и попросите девушек подсчитать, сколько в нашем городе Валер.

– Валер?...

– Да-да. Зацепочек...

Комиссар снова ссутулился над листами, старательно разбирая строчки.

Хорольский, осторожно прокашлявшись, набрал-таки справочную. Его долго футболили там, в справочной, от стола к столу, он тихо оправдывался, настаивал, умолял, но в тоне его уже не было ни презрительного невнимания, ни иронической покровительственности.

«Во учит! – с уважением подумал о комиссаре Ковалев. – Мозги вправляет – будь здоров!..»

А комиссар Белоконь невозмутимо изучал дело. И, поглядывая на него, Хорольский страдал и мучился:

– Ну почему же невозможно? Ну я прошу вас. Лично прошу... По каким признакам? Ну хоть от шестнадцати до двадцати шести лет пока... Ну хоть приблизительно...

Начальник закрыл папку и забарабанил по ней пальцами. Потом снял очки, долго тер усталые глаза.

– Ну, как там зацепочка?

– Сейчас. – Хорольский напряженно слушал, что ему бубнят с другого конца провода. – В общих чертах, конечно... Сколько?... – И тихо положил трубку.

– Так сколько же «в общих чертах»?

– Что-то там... за двадцать тысяч...

– Прекрасно, – сказал комиссар. – Вот и займитесь: как раз к пенсии и закончите. Если вас с работы не попрут.

– Товарищ комиссар, я полагал бы...

– Полагать буду я. – В голосе Белоконя прозвучало такое стылое железо, что младший лейтенант на всякий случай съезжился. – А вы со всей прытью, присущей вам, вернетесь в свой кабинет и от имени милиции принесете девушке извинения. Затем лично проводите ее до выхода из управления, еще раз попросите прощения и улыбнетесь, как заслуженный артист. Понятно?

Хорольский угнетенно кивнул.

– Исполнив это, пройдете к начальнику следственной части и доложите ему, что я приказал не допускать вас до самостоятельной работы вплоть до моего особого распоряжения.

– Товарищ комиссар...

– Может быть, это научит вас ценить советы старших, Хорольский. Идите.

– Есть... – трагическим шепотом сказал Хорольский.

Тут он повернулся и глаз в глаз столкнулся с младшим лейтенантом. Замер, а потом, усмехнувшись, вскинул голову и так и вышел, заставив Ковалева сокрушенно вздохнуть.

– Чего пыхтишь? – недовольно спросил Белоконь. – Сделал доброе дело и стесняешься?

– Наклепал, получается.

– Наклепал?... А я-то думал, ты слабого защитил и тем самым исполнил свой служебный долг. Эх, Семен Митрофанович, товарищ младший лейтенант, не тем твоя дурь мучается. Двадцать лет прошло, как мы с тобой в милиции служим, дети уж внуков мне надарили, а ты у меня дома так ни разу и не был. Не посетил. А почему? А у тебя на все один ответ: «Не положено». Сделаешь доброе дело и больше всего на свете боишься, что тебе за него спасибо скажут. Так, Семен Митрофанович?

Ковалев не ответил. Он пересел поближе к комиссарскому столу, заставленному ручками, и о чем-то старательно думал. Комиссар улыбнулся ему и достал из папки приказ.

– Уходит в бессрочный отпуск младший лейтенант Ковалев Семен Митрофанович. Очередной «дядя Яша» – бабьем руганный, шпаной битый, бандитами стрелянный – покидает пост. Проводы тебе надо бы устроить, а, товарищ младший лейтенант? Торжественные проводы с пионерами в красных галстуках...

– Я вот чего думаю, товарищ комиссар, – перебил Семен Митрофанович вдохновенную речь начальника. – Я думаю, что по справедливости за оскорбление женщины надо бы вдвое, а? ... Или нет, не вдвое даже – впятеро. Обругал женщину плохими словами – три года. Ударил – пять, а то и все десять строгого режима. Потому что, товарищ комиссар, девушку обидеть просто, это как игрушку сломать. А как ей потом, сломанной-то, детишек собственных воспитывать? Как в глаза им глядеть, когда об ее собственную гордость сволота грязная ноги вытерла? Согнуть легко, а распрямиться как? Как ей распрямиться потом, если согнули? Нет, товарищ комиссар, не одинаковые мы с женщинами, и поэтому кодекс надо менять. Надо про охрану женщин, а особо девушек и гордости ихней, отдельные статьи ввести. И поначалу, пока не привыкли, поостроже! И потом... – Семен Митрофанович вздохнул. – О скидке, может, подумать?

– Какой скидке?

– Ну, чтоб девушкам, которые на производстве хорошо работают, было бы облегчение. Скажем, раз в год сапожки на меху по казенной цене. Или там пальтишко какое. Ведь не обеднеем же мы от этого, ведь богатая же у нас страна, и можем мы красоту свою одевать достойно жизни...

Комиссар улыбался уже от уха до уха, и Ковалев, наткнувшись вдруг на эту улыбку, замолчал и застеснялся.

– Ликург, – сказал Белоконь. – Тебя бы в Верховный Совет.

– А все равно так будет. Не может быть, чтобы так не было.

– Наверно, будет, – вздохнул комиссар. – Кто ее знает, что завтра-то будет. А вот сегодня... Сегодня мне приказ о твоей отставке подписывать, Семен Митрофанович. Если, конечно, ты не передумал за это время.

– Нет, не передумал, товарищ комиссар. Семью уж в деревню отправил, уж сыновья ждут там. И внученька.

– Стало быть, подписывать?

– Подписывайте.

– А ко мне домой зайдешь?

– Зайду, – серьезно пообещал Ковалев. – Как только служить перестану, так и зайду. Как только прикажете.

– Завтра, – сказал комиссар. – Даю тебе денек на закругление всех дел, а с нуля часов ты, Семен Митрофанович, человек вольный. И поэтому жду я тебя у себя дома завтра к девятнадцати часам. Выпьем?

– Выпьем.

– Молодость вспомним?

– Вспомним, товарищ комиссар.

– И бой на Соловьевой переправе в августе сорок первого тоже вспомним... Хотя про это рассказывать мы не будем. Про это, Семен Митрофанович, у меня в доме все знают. Наизусть. – Комиссар взял знаменитую ручку, осмотрел ее, прицелился и еще раз спросил: – Так подписывать?

– Подписывайте, товарищ комиссар.

– Рука свинцом наливается, Сеня, веришь? – вздохнул комиссар. – Словно моя собственная половинка на пенсию уходит...

И размашисто расписался...

4

Назад Семен Митрофанович возвращался городским транспортом: сперва трамваем, а потом пять остановок автобусом. Транспорт этот ходил плохо, а очередей граждане не соблюдали и кидались все скопом. Этому младший лейтенант не любил, но особо на людей не сердился: сердиться надо было на транспорт. Но за передней дверцей следил ретиво: подсаживал бабок да мамаш, помогал инвалидам и решительно гнал тех, кто поздоровее. И сам правом своим – правом входа с передней площадки – никогда не пользовался. Силенка еще имелась, а за бока не боялся: с народом потолкаться никому не обидно. Наоборот даже: приглядеть можно было, чтоб не выражался никто, чтоб женщин не обижали, чтоб какой-нибудь патлатый на инвалидном месте не развалился. За этим он всегда особо смотрел.

Вот так час с лишком потолкавшись в трамвае да автобусе, он и прибыл в собственное отделение. Доложил, как положено, что приказ завтрашним днем оформлен, и получил эти последние сутки службы своей в личное распоряжение для закругления дел.

– Акт прощания завтра организуем, – сказал начальник. – Прощание, Семен Митрофанович, – итог службы вашей. Венец, можно сказать...

Насчет венца Ковалев не очень понял, поскольку речь для него шла все-таки об уходе на пенсию, а не о свадьбе. Но начальник был человек образованный и, значит, знал, что говорил.

В курилке, а от начальства он сразу в курилку подался, никого не было: то ли ребята на задания разошлись, то ли на обед. Но Семену Митрофановичу это даже понравилось: он неспешно закурил и достал распухшую от записей, вкладок и справочек записную книжку.

Многое в этой книжке хранилось: жизнь его четырех кварталов. Не та жизнь, которую каждый напоказ выставляет, не витринная – нутряная. Жизнь дворов и подъездов, лестничных клеток и общих коридоров, осенних вечеров и весенних ночей. Нет, не ошибки людей фиксировал младший лейтенант в своей книжечке, не оговорки их, не досадные оплошности – он доброе в них искал. В самом отпетом пропойце, в каждой свихнувшейся потаскушке он искал тот кремешок, из которого можно было бы вышибить искру. И если находил, радовался безмерно и уважал тогда этого человека. А уважая, не жалел: вышибал искру...

Книжечку эту с бесценным ее содержимым он намеревался Степешко передать. Степану Даниловичу Степешко, старшему лейтенанту, который принимал от Семена Митрофановича его разностильные кварталы. Данилыч был солиден, нетороплив, хотя и молод: только-только за тридцать перевалило. Вот эти три обстоятельства да еще старательно скрываемая Степешко доброта и решили выбор младшего лейтенанта Ковалева. Долго он к Данилычу присматривался, а раскусив, пошел к начальнику и попросил разрешения передать участок в степешковские руки: «Серьезный человек».

Потом он неторопливо водил Степана Даниловича из квартиры в квартиру: знакомил. Знал, с кем пошутить можно, а на кого бровью шевельнуть, где чайку попить, а где и отказать:

– Права не имеем. На посту находимся; извините, конечно...

Месяц ходили, пока Степешко со всеми не перезнакомился. Хорошо он знакомился, уважительно, себя не теряя. Но Ковалеву особо то понравилось, что Данилыч свою тетрадку завел. Что он там в ней писал, неизвестно, но раз писал, значит примечал, значит положил глаз на эти кварталчики, значит не сиротами они останутся после ухода Ковалева. А это очень важно, когда после тебя не пустое место остается, не бабы ахи да воспоминания, а дело, тобою начатое. Очень это важно для совести и спокойствия души.

Об одном жалел Ковалев: нельзя было сегодня кварталы те Степану Данилычу передать. В госпитале лежал Данилыч: неделю назад компанию пьяную просил разойтись подобру-поздорову. Тихо просил, спокойно, а очнулся в госпитале: бутылкой сзади ударили. Так просто ударили – и все. Для смеха.

Но госпиталь Семен Митрофанович на завтра планировал. Навестить товарища, доложить, что в кварталах слышно, и книжечку передать. Для изучения. А уж потом, после этого последнего служебного дела, затянуться в мундир потуже и первый раз в жизни прийти в гости к товарищу комиссару Белоконову. Впервые за тридцать лет дружбы...

А сегодня следовало последний обход по кварталам сделать. Выборочно, конечно: с кем – попрощаться, кого – предостеречь, кому – погрозить маленько. Грозить тоже приходится, чего уж. На то у милиции и права, и власть, и авторитет, и сила. И пока младший лейтенант Ковалев не стал просто гражданином Ковалевым, он этот авторитет, власть эту и силу в своем лице повсеместно представлял. Всегда помнил об этом и гордился.

И сейчас, сидя в курилке, он книжку свою в который уж раз перечитывал, припоминал и выводы делал. И помечал, к кому когда зайти следует и в какой последовательности...

«17 февраля. У дома № 16 группа: Самсонов Олег, Нестеренко Владимир, Кульков Виталий и двое неизвестных наносили оскорбление словом гражданке Тане Фролкиной и бросались в нее снежками.

Проверить: почему Таня смолчала».

«18 февраля. Мать говорит: Таня два раза не ночевала дома, три раза приезжала на такси и – выпивши. Кто-то купил ей сумочку и платок. Потому тогда и смолчала: значит, стыд».

«23 февраля. Проведена беседа с гр. Таней. В праздник Советской армии напомнил ей о покойном отце, героически умершем от фронтовых ран. Заплакала хорошими слезами...»

Нет, к Тане можно было не ходить: Таня вышла замуж, Таня счастлива, Таня девочку родила. А где человек счастлив, там милиции делать нечего...

«Кульков Виталий выпивает после работы, а в субботу так напивается непременно. Мать влияния не имеет, а бывший отец проживает в гор. Борисове.

7 марта. Имел беседу о гр. Кулькове Виталии в райвоенкомате. Отнеслись со вниманием...»

В армии гражданин Кульков Виталий. И матери пишет регулярно.

«Гр. Кукушкин, водопроводчик. Пьет и в нетрезвом виде бьет жену. Жена, несмотря что женщина крупная, от побоев первого родила мертвенького, а второй – мальчик с нервами и детей дичится: видно, стесняется за отца...»

Вот Кукушкиных проведать придется: опять вчера шумел. Придется потолковать по душам, прощупать, вышибить искру: Степешко легче работать будет...

И так – листик за листиком – продумал он весь свой талмудик. Каждую запись прочитал как бы наново и за каждой такой записью увидел вполне конкретное лицо со своим взглядом и норовом, со своим говорком и со своими родимыми пятнышками...

Но до обхода этого прощального Семен Митрофанович все же плотно пообедал. Человек он был дальновидный и понимал, что одним чайком сегодня может не обойтись. Ну а по сытому состоянию и от чарки легче отказываться, и опять же не так она, чарка эта, воздействует, если отказаться все же не удастся. Исходя из этого младший лейтенант купил в гастрономе две пачки пельменей и пошел домой.

Квартира у него была двухкомнатная – тесновато, конечно, для семерых-то, что и говорить, – но зато с большой кухней. В кухне на казенном, списанном по дряхлости диване спала старшая дочка, Полюшка, – та, что внученьку ему подарила нежданно-негаданно. Тихая

девочка была, войной пришибленная – оттого, может, и не задалась у нее пока жизнь. Но Семен Митрофанович в справедливость свято верил, а потому твердо был убежден, что такое доброе да простое сердечко, как у его Полюшки, отогреется еще и счастьем и радостью.

Парни – Колька, Владлен да Юрик – в маленькой комнате жили. Старший – Владлен – уж в армии отслужил, жениться собирался, да все откладывал. А Юрка учился еще. И Юлька училась – младшая самая: она с ними в большой комнате спала. За шкафом.

Юлька да Юрка – его были. Кровные. И хоть никогда, ни единым взглядом не сделал он различия между детьми – своими там или не своими, – а с кровных невольно строже взыскивал. Придирчивей и в смысле дисциплины, и в смысле отметок. Но не потому, что его они были, плоть от плоти его, а потому, что не в лихолетье росли, не бурьяном на заброшенной пашне, а в семье, в городе. Сыты были, обуты, одеты – как с таких не спросить?...

В квартире многое их собственными руками было сделано. И не полки да антресоли – это его ребята еще мальчонками освоили и сделали сами всем соседям, – а серьезная мебель: шкафы, тумбочки, скамейки и обеденный стол. Огромный стол, на всех семь человек с простором, со столешницей из строганой липовой доски, которую ножом поскоблишь – и как новая. Настоящий стол: такому ни клеенок, ни покрывашек не требуется – он сам за себя говорит. И потому столом этим Семен Митрофанович чуточку гордился.

Сейчас на столе ворохом лежали подарки: жене и Полюшке – на платья, Владлену – костюм, Кольке-шалопая – приемник карманный, школьникам Юрке да Юльке – мелочишка всякая. Это все сюрпризом его было, это все он тайком покупал, из собственных карманных денег двугривенные откладывая. Давно он это задумал, сюрприз-то этот, и рапорт только тогда подал, когда кое-что скопил.

Зато теперь Дедом Морозом в деревню ехал. И заранее представлял, как они все радоваться будут, как удивляться, как женский состав к зеркалу кинется. И даже как жена его ночью допрашивать начнет, где он столько денег раздобыл, и как заплачет потом – тоже представлял. И улыбался, в сотый раз подарки эти перебирая. Особенно когда куклу в руки брал: хорошую куклу – ростом с внученьку.

Семен Митрофанович плотно пообедал двумя пачкамипельменей, напился чаю с калорийной булкой, со вкусом, неторопливо покурив на Полюшкином диване. В дрему его слегка клонило, но он сладко этак поборолся с ней и вышел победителем. Позевал, потянулся и встал: пора было в кварталы идти. В прощальный, а потому и чуток торжественный обход.

Он даже побрился перед этим походом: так, для порядка, поскольку с утра еще ничего не выросло. Побрился, смахнул с сапог невидимую пыль, почистил щеткой тужурку. Все это делал он неторопливо и улыбался. Себе самому улыбался, удивляясь, до чего же, оказывается, важен был для него этот последний обход, это прощание с людьми, с которыми всегда держался только официально. По-доброму, конечно, по-человечески, но в рамках. Как положено.

Начать следовало с самого трудного: он всегда так поступал, всю жизнь. А трудными для него были семиэтажки – те, с которых до сих пор сыпались архитектурные излишества. Не налаживался с их жильцами у него контакт, хоть и старался Семен Митрофанович его наладить. С одним, правда, все было в порядке, с сорок пятой квартирой, и поэтому сегодня младший лейтенант оставлял ее, так сказать, на закуску.

Понятно, он не всех подряд обходил: некоторых тревожить вообще не стоило, иных просто избегал, а другим только «до свидания» сказать собирался через дверную щель. Но были и такие, не посетить которых он по долгу службы просто не имел права...

5

В семнадцатой долго не открывали: Ковалев знал почему и только усмехался. И звонок давил настойчиво и требовательно: не в гости шел – навещал вполне официально, как представитель власти. Наконец зашаркали там, по коридору.

– Кто?

– Младший лейтенант милиции Ковалев. Откройте, гражданин Бызин.

– А зачем?

– Не тяните: все равно ведь войду.

Зазвякали за дверью: Семен Митрофанович здесь всякий звяк изучил досконально и потому с уверенностью мог заявить, что звякают дверной цепочкой. Потом щеколда брякнула, замок повернулся, и дверь открылась ровнехонько на длину предусмотрительно накинутой цепочки. В щели показалось круглое лицо: частями, поскольку целиком не вмещалось, – и посверкивало на младшего лейтенанта то правым, то левым глазом.

– Нагляделись?

– А к чему это посещение, позвольте спросить? Я не заявлял, не шумел, как некоторые, не скандалил...

– А времечко-то идет, гражданин Бызин. Да. Идет. А мы – стоим. Но я терпеливый, вы-то знаете.

Гражданин Бызин подумал, посверкал на Ковалева то левым, то правым глазом (точно прицеливался), прикрыл на секунду дверь и звякнул цепочкой.

– Терять из-за вас драгоценные свои минуты я не намерен, – сказал он, пропуская младшего лейтенанта в квартиру. – Я воспоминания пишу о товарищах, о жизни.

Ковалев ничего на это не ответил. Снял фуражку, повесил на крючок, пригладил перед зеркалом седой ежик (сквозь него уж и лысинка просвечивала). А гражданин Бызин, ворча, накидывал тем временем на дверь бесчисленные засовы и крючки. Потом они молча прошли в комнату и сели за стол друг против друга. Бызин хмурился и прятал глаза, а Семен Митрофанович улыбался.

– Ну? – не выдержал наконец хозяин: он все время то потирал, то замысловато сцепливал пальцы. – Так в чем дело?

– А где же ваша машинка?

– Какая машинка?...

– Пишущая. Вот марки, правда, не знаю. Пока.

– Нет у меня никакой...

– Есть. – Младший лейтенант спрятал улыбку и вздохнул. – Есть, есть, гражданин Бызин. Та самая, на которой вы недостойные свои анонимки печатаете.

– Какие анонимки? – Хозяин вскочил, метнулся к дверям, вернулся. – Это еще доказать, доказать надо!..

Ковалев неторопливо достал записную книжку и извлек из нее две вчетверо сложенные бумажки. Развернул одну:

– Заявление. От гражданина Бызина Геннадия Васильевича, проживающего там-то. И подпись. Ваша подпись: вы тут насчет внеочередного ремонта хлопчете.

– Ну и что из того? Имею право!

– А вот другой документ. – Семен Митрофанович развернул вторую бумажку. – Письмо в милицию насчет гражданки Ларионовой Ольги Юрьевны. И шпионка она, и фарцовщица, и развратница, и ночи напролет проводит в гостинице «Интурист».

– Правильно! – закричал Бызин, тыкая в младшего лейтенанта двумя указательными пальцами одновременно. – Сам, лично сам видел, как она в ресторане с американцами кривлялась, и штаны на ней в обтяжечку вместо юбки! Я показания могу, я свидетелем...

– Ответчиком, гражданин Бызин Геннадий Васильевич. Ответчиком придется, вот ведь какой факт получается. Письмо-то это вы писали, хоть и без подписи оно. Писали и на машинке отстукали. Думали, шито-крыто все будет?

Гражданин Бызин сорвался вдруг с места и дважды обежал кругом стола.

– Докажите! Нет, вы докажите сперва!

– Так ведь доказано уже все, – спокойно сказал Ковалев. – Все доказано, и не надо вам бегать. Для здоровья это вашего опасно.

Хозяин хотел возразить, но захлопнул рот и, сев напротив, снова стал хрустеть пальцами.

– Была Ольга Ларионова в ресторане, гражданин Бызин. И в гостинице «Интурист» тоже была. И даже с иностранцами встречалась: практику она там проходит, на переводчика учится, и вы этот факт знаете прекрасно. Так зачем же дегтем-то мазать, а?

Хозяин молчал. Открывал рот, набирал полную грудь воздуха, но звуки из горла не выходили. Младший лейтенант вежливо обождал и, не дождавшись, добавил огорченно:

– И таких анонимочек на разных граждан и по разным поводам написано вами восемнадцать штук. И все, извините, липа.

– Что?

– Липа, говорю. Неправда, значит. Или, сказать точнее, клевета.

Семен Митрофанович обстоятельно собрал все бумажки, вложил их в записную книжку, а книжку спрятал в карман. Хозяин по-прежнему отрешенно глядел на торшер возле журнального столика со стопкой старых газет. Ковалев поднялся и, заложив руки за спину, неспешно прошелся по комнате.

– Пыльно живете, гражданин Бызин. Да оно и понятно: в двухкомнатной квартире площадью сорок два квадратных...

– Я заслужил! – вдруг закричал хозяин. – Я честно, себя не щадя, куда велели! Я сорок лет, я...

Он замолчал так же внезапно, как и начал. Ковалев подождал, не добавит ли он еще чего, но Бызин не добавил.

– Я ваших заслуг не отрицаю, – тихо сказал Семен Митрофанович. – Я ведь не о том, Геннадий Васильевич. Я ведь о том, что один вы в этих метрах остались, вот ведь какой факт получается. Дочь у мужа живет, жена – у дочери, а сын ваш с Ольгой Юрьевной Ларионовой в другом конце города комнату снимают. Он по ночам уголь на станции грузит, чтоб за комнату эту платить.

– Сожительство! – Геннадий Васильевич весь подался вперед. – Сожительство, а милиция потворствует?

– И здесь перебор, – строго сказал Ковалев. – Свадьба-то была. Была, гражданин папа, вот ведь какой факт получается. – (Геннадий Васильевич молчал.) – И откуда в вас злоба-то эта, Геннадий Васильевич? Почему вы никак понять не можете, что молодые по-другому жить хотят, не так, как мы с вами прожили? Веселее, звонче, радостнее. И – я, конечно, извиняюсь – честнее.

Хозяин упорно молчал, уставившись в одну точку. Глаза его были напряженными, будто он что-то ловил, а это «что-то» все время ускользало от него, и он снова ловил.

– Вот тут адресок ихний, – сказал младший лейтенант и положил на стол записку. – Сходите к Ольге Юрьевне, когда сын на работе будет. Она хорошая, умная женщина, она все понимает...

– Что? Что она понимает?! – вдруг странным тоненьким криком перебил хозяин. – Тут сын родной, сын, сын ничего не понимает, сын собственный!.. Разве ж я о себе когда думал?

Я ведь и думать-то о себе не умею. Не умею о себе думать и горжусь! Я о государстве нашем, о государстве день и ночь! Всю жизнь за благо его, всю жизнь до часа. Известно это кому? Почему же сын не уважает? Почему? Разве я сам себя когда до чего допускал? Я же только указаниям следовал, делал, как приказывали! А меня за преданность мою... Меня, меня, который, который...

Он скорчился, спрятал лицо в ладонях, повел плечами, сдерживая слезы, и не сдержал: всхлипнул. Семен Митрофанович горестно вздохнул, покачал головой:

– Где у вас капельки?

– Не надо... капелек, – шепотом сказал Бызин, ладонью растирая слезы. – Плохая молодежь, плохая. Развращенная. И отцов не чтит, заслуг их не уважает. Уголь грузит? Дурак! Пусть грузит, пусть!.. Небось, когда прижмет, прибежит. Прибежит ко мне, прибежит!..

– Нет, – сказал младший лейтенант. – Не прибежит. Не обманывайтесь.

– Да?...

– Да. Так что свыкнитесь с этим и не завидуйте другим.

– Это я-то? Я?... Завидую?... – Бызин с изумлением глядел на Ковалева.

И замолчал. И изумление на его лице словно окаменело, словно вдруг внутрь обернулось, в самого себя.

– Не завидуйте, Геннадий Васильевич, – тихо повторил младший лейтенант. – А сейчас попрощаться с вами разрешите. Здоровья вам пожелать и спокойствия души. Очень это важно на старости лет – спокойствие души. Очень.

Прошел в коридор, долго надевал фуражку, топтался: слушал, как там хозяин. А тот все что-то не появлялся. Потом вышел, глянул на Ковалева как на фонарный столб и молча стал отпирать затворы. И так же молча на место все крючки накинул, когда Семен Митрофанович вышел на лестничную клетку.

Давно уже замер звук последней задвинутой щеколды, давно прошаркали по коридору шаги, а Ковалев все еще стоял перед наглухо заложеной дверью – последней цитаделью, куда отступил этот так ничего и не понявший в жизни старик. Стоял, вздыхал и расстроено думал, что не так он провел свой последний разговор, как следовало. Ох, не так!..

6

С этим неприятным осадком он спустился вниз, пересек двор и поднялся на пятый этаж последнего подъезда. Поднимался он не торопясь, с одной, правда, остановкой, потому что строители этих семиэтажных ампилов забыли предусмотреть в подъездах лифты. Однако Семена Митрофановича раньше это как-то не очень заботило, и только сегодня пришлось-таки вспомнить, что на пенсию он уходит не по собственному капризу. Поэтому у нужной ему квартиры он задержался дольше обычного, чтобы отдышаться и разговаривать голосом, положению его соответствующим. И пока он одиноко пыхтел на пустой лестничной площадке, вздыхая и сокрушаясь, что по таким пустякам время теряет, вдруг показалось ему, что за дверью, перед которой он стоял, ясно и весело прозвучал девичий голос. Слов Семен Митрофанович не разобрал, но голос... голос узнал сразу: насчет этого слух у него был в полном порядке. Воробьи той голос-то был, девчонки, с которой он вместе ехал сегодня в служебном газике.

А вот того, ради кого младший лейтенант сейчас перед дверью пыхтел, того совсем не Валерием звали, а Анатолием. И никаких Валер в друзьях его вроде никогда не числилось, как Ковалев ни пытался припомнить...

Но это так, на всякий случай в нем промелькнуло. Просто для уточнения, да и голос при всем его милицейском слухе мог вполне свободно другой птахе принадлежать – и совсем, может, не воробьишке даже, а голубке или лебедушке. И младший лейтенант, усмехнувшись про себя этому соображению, нажал кнопку звонка.

Он только прикоснулся к ней – так ему показалось, – а дверь вдруг словно сама собой распахнулась, и на пороге оказался хозяин: в белой рубашке, хоть, правда, и без галстука.

– Ну ты молоток, старик! С космической ско...

Все это он выпалил бодро и радостно, но, увидев, кто стоит перед ним, осекся, сглотнул полслова и – онемел. Но Семен Митрофанович не глядел на него: он через плечо его смотрел вглубь коридора и слово был готов дать самое твердое, что мелькнула там, в глубине, легкая фигурка. Мелькнула как видение, точно ветром снесенное, и все-таки Ковалев засек и худенькие плечи, и совсем по-особому вздернутую голову воробьишки...

– Простите, – растерянно бормотал Анатолий. – Спутал. Друг обещал заглянуть. Думал, он...

Пока шло это необязательное лихорадочное объяснение, Семен Митрофанович оглядывался. Видение, в котором он точно узнал свою недавнюю подопечную, уже скрылось где-то в недрах огромной квартиры, но у самого порога остались небрежно сброшенные модные туфельки: лак на одном был чуть поцарапан. Все это младший лейтенант успел разглядеть, пока Анатолий многословно и непривычно вежливо объяснял свою ошибку. И разглядеть успел, и даже про себя усмехнулся, вспомнив, откуда царапина на туфле: девчонка в газике ноги под сиденье запихивала, пряча от него обновку...

– Вежливый ты сегодня, Анатолий.

– Я вообще вежливый. – Парень неопределенно пожал плечами, выдавил улыбку, как пасту из тюбика, и впервые рискнул поднять на Ковалева глаза. – Меня вежливости еще мама с папашей...

– А сейчас где они?

– На даче... – Анатолий как-то странно усмехнулся. – А зачем вы спрашиваете? Вы же и так все знаете.

А глаза были блудливы, как мыши: то ли боялся, что младший лейтенант родителям про девчонку расскажет, то ли еще чего-то боялся, посерьезнее. И в квартиру не пускал, явно не пускал, стоя на пороге. И еще – спешил. Спешил куда-то, слова без оглядки роняя. Пустые слова: не для разговору – для болтовни.

Обо всем этом младший лейтенант думал как-то сразу, в целом, не отделяя причин от следствий да и не ища их сейчас. Он по опыту знал, что хуже нету, как причины да следствия с ходу устанавливать, и поэтому, все замечая, выводы делать опасался. Выводы завтра сделать можно будет, в госпитале, вдвоем с Данилычем.

– Жалуются на тебя, Анатолий.

– Что?... Кто?

– Так и будешь меня в коридоре держать?

– А... Извините. – Анатолий отступил в сторону, предупредительно распахнул ближайшую дверь. – Прошу.

И это было не совсем обычно, потому что Семен Митрофанович все эти квартиры, весь строй их и быт давно наизусть знал, потому что прежде его всегда в большой комнате принимали, в столовой. А это была папашина комната: сюда самому Анатолию и то был вход заказан.

А сегодня – и дверь нараспашку, и это Ковалев тоже запомнить постарался.

Комната была маленькой: дворцы эти лишь снаружи роскошно выглядели, а внутри только лестничные клетки соответствовали внешнему виду. А комнаты в каждой квартире были на редкость неудобными, и эта, хозяйская, была более схожа с кладовкой, чем с жильем человеческим: свету в ней было мало, дверь – велика, да и барахлишка здесь скопилось тоже предостаточно. И барахлишко-то странное было, очень странное: громоздкое, старое, неудобное, широкозадое какое-то.

– Присаживайтесь, – сказал Анатолий. – Можете закурить.

«„Советский Союз“, – подумал Ковалев. – Сорок копеек пачечка...»

И сказал:

– А закурить-то у тебя найдется?

Парень хлопнул по карману, метнулся к дверям:

– Сейчас!

Услужлив он сегодня был, ох услужлив! И вежливостью от него несло, как одеколоном из парикмахерской...

– Вот, пожалуйста.

«БТ». Младший лейтенант даже обрадовался, что другими оказались сигареты. Почему обрадовался, и сам понять не мог, но обрадовался.

И закурил, хоть от сигареток этих в горле у него першило.

– Жалуются на тебя соседи, что нарушаешь ты постановление горсовета.

– Какое постановление?

– Насчет шумов. Магнитофон у тебя больно зычный, Анатолий. На весь квартал хватает.

– Так ведь музыка. Искусство, товарищ младший лейтенант.

Осваивается понемногу, раз об искусстве заговорил. Значит, страх проходит. Перед чем же страх-то был? Что его напугало?

– Искусством, согласно постановлению горсовета, заниматься можно до двадцати трех часов. А потом – конец всякому искусству. Ясно?

– Усвоил.

– Если бы ты песни красивые играл, тогда бы и нареканий не было. А у тебя будто режут кого. Орут какие-то нетрезвые на иностранных языках. И орут громко.

– Вы попутно и эстетике обучаете?

– Попутно. – Ковалев поднял палец. – Именно что попутно, Анатолий. Это ты умно сказал.

И замолчал. Пыхтел себе сигареткой, разглядывал громоздкие комоды и ждал. Видел, как Анатолия вдруг в краску кинуло, как закурил он...

– А что вам, собственно, нужно? Неужели ради магнитофона этого?...

Не выдержал. Брякнул с нервов и замолчал. Проболтаться боится, что ли?

– Попутно, – повторил Семен Митрофанович. – Магнитофон – это попутно. Веткиных знаешь?

– Не знаю я никаких Веткиных!..

Громко слишком выкрикнул. Слишком громко.

– Среди прочих вещей, что взяли у них, туфли лаковые числились. Иностранного производства туфли: дочка их за границей купила и у родителей на хранение оставила.

– Ну и что из того? – грубо перебил Анатолий. – Мне-то что до этих туфель заграничного производства?

– А то, что они у тебя в передней стоят, эти туфли.

Это он спокойно сказал, размеренно. Сказал и ждал, что будет. Вскочит Анатолий, закричит, покраснеет – что?... Что-то должно было произойти, потому что туфли эти он видел собственными глазами и сейчас по первой реакции парня должен был понять, знает ли сам Анатолий, что туфельки эти – ворованные?...

И промахнулся. Позорно, как первогодок несмышленный, опечатку допустил. Крупнейшую опечатку!..

Не вскочил Анатолий. Не закричал, не покраснел – спросил. Спокойно спросил, улыбаясь:

– Какие туфли, товарищ младший лейтенант?

Все понял Семен Митрофанович. По глазам, по чуть прорвавшемуся торжеству, по спокойствию. И поэтому снял этот вопрос с повестки, как неоправданный:

– Шучу я, Анатолий. Шучу!

Встал, пошел к двери – Анатолий и здесь поспел предупредительно распахнуть ее. Вышел в коридор, стрельнул по полу глазами: все правильно. Тю-тю туфельки те вместе с ножками! С приветом, как говорится!..

– Вместо меня теперь будет Степан Данилыч Степешко, – официально сказал Ковалев. – Ты уж не беспокой его нарушениями, ладно? Как-нибудь до двадцати трех укладывайся в рамки.

– Уложусь.

– Ну, счастливо тебе, Анатолий. – Шагнул к дверям, обернулся вдруг. – А ведь туфельки-то были. Были, Толя, вот ведь какой факт получается. Так что учти. Если умный.

И вышел. Нарочно быстро вышел, чтоб парень наедине с его последними словами остался. Очень это сейчас было важно: оставить его наедине с этими словами.

А сам во второй дом направился: из семиэтажек – второй. И пока шел, улыбался: перехитрила его, старого волка, молодежь эта магнитофонная. Провела да вывела без стука, без шороха, пока он над собственными планами потел. Ну и правильно сделала: не держишь ногу – выходи из строя. Еще одно доказательство, что в самый цвет он рапорт подал. В самый раз, в яблочко.

Нет, не верил он, что Анатолий в квартирной краже замешан. Ну задирист парень, ну нагрубить может, ну старших не почитает, ну, с девчонками там, с винцом замечен – так ведь от этого до уголовщины никакая ниточка не ведет. Совсем это разные вещи, и под один параграф ставить их не следует: ошибочно это. Да и по характеру Анатолий не из тех, что в капезе, как в собственную квартиру, приходят. Он ведь не милиции боится, он запачкаться боится и, значит, именем своим дорожит. А это тормоз надежный.

Однако воробыха была у него? Вроде была. Туфли на полу в прихожей лежали? Лежали. Без всяких «вроде»: точно лежали. И ждал Анатолий кого-то, с нетерпением ждал. Кого, спрашивается?

7

Вопросы эти в книжку он заносить не стал, а решил при встрече ознакомить с ними Данилыча. Не просто ознакомить: обсудить. Насчет профилактики и девчонки этой. Воробьихи...

– Не заперто! Входите!

Он и не заметил, как к Агнессе Павловне постучал.

Вошел, снял фуражку, крикнул в гулкую квартиру:

– Добрый день, Агнесса Павловна! Это из милиции к вам. Семен Митрофанович.

– Ну что там еще? Погодите, оденусь!

Усмехнулся Ковалев: то не заперто, то погодите. Станный народ, женщины одинокие!

Агнесса Павловна в тридцать овдовела, красивая бабенка была, тугая, ядреная, и все соразмерно, ничего не скажешь. Завидная вдовушка: и квартира, и дача, и машина, и в самом соку. Однако тогда она не спешила. Тогда она так считала, что лучше быть вдовой профессора, чем женой аспиранта. И жила не задумываясь, точно раскручивала много лет назад взведенную пружину. Без оглядки жила, словно на бегу. Ну а теперь... теперь добежала. Теперь ей самая пора была к месту причаливать, на якорь становиться, а якоря-то этого в наличии и не имелось. О якоряе своевременно заботиться следует, и умные люди его загодя подбирают...

– Входите!

Дух в большой комнате стоял, точно в милицейской курилке под утро. И окурки везде понатыканы: в пепельницах, в тарелках, в цветах. И рюмки невымытые на столе, и бутылки пустые: хороший кавардак здесь вчера устраивался, на всю катушку...

Младший лейтенант первым делом окна настежь распахнул, чтоб выдуло весь этот кабацкий дух к чертовой матери. Тут Агнесса Павловна вошла – в пестром халате, зеленая то ли с пересыпу, то ли с перекуру. Сказала безразлично:

– А, это вы...

Плюхнулась в кресло, схватила сигарету. Семен Митрофанович ждал у окна, пока она в соображение войдет. Ждал, глядел на измятое, безжизненное лицо этой еще совсем нестарой женщины, на дрожащие пальцы и жалел ее. Раздраженно жалел, дурой чертовой про себя ругая.

– Хотите кофе, Семен Митрофанович? Я вам по-особому сварю: меня композитор один научил.

– Это потом, спасибо. Тихо вы вчера гуляли.

– При закрытых окнах. – Она усмехнулась. – Цените, Семен Митрофанович.

– Ценю, – серьезно сказал он.

Не отшутился: правду сказал. Он уважал ее, беспутную, добрую и очень одинокую. И она его уважала: вся гульба здесь втихую шла, за тяжелыми шторами, чтобы ему, младшему лейтенанту Ковалеву, поменьше было беспокойства.

– С прошедшими именинами вас.

Она покивала. Потом вдруг улыбнулась, даже глаза чуть ожили.

– Учтите: мне – тридцать девять, и ни на один день больше!

Сорок три ей вчера исполнилось, но точность здесь была ни к чему. А вздохнул Семен Митрофанович по другому поводу.

– Себя бы пожалели.

Всерьез сказал, и не во исполнение параграфа – от души. Сроду бы он никогда себе не признался, что... Ну да что уж там: он милиционер, а она – кофе с композиторами... Да и потом, усмехнулся Ковалев, ему завтра на пенсию, а ей вчера – тридцать девять, и ни на один день больше. И вздохнул:

– Пожалели бы вы себя, Агнесса Павловна!

– А!.. – Она беспечно махнула рукой, сигарета немного привела ее в чувство. – Так как же насчет кофе?

– Кофе?... – Он прошел, сел напротив. – Это потом. Сами выпьете. Я ведь просто так зашел. Попрошаться зашел, точнее сказать.

– Попрошаться? Уезжаете куда?

– Уезжаю, Агнесса Павловна. Совсем уезжаю, потому как с нуля часов выхожу на пенсию.

– На пенсию?... – Она встала, глядя на него и вслепую тыкая сигарету в пепельницу. – Семен Митрофанович, дорогой, вы шутите так, да?

– Нет, не шучу. Сдаю участок новому товарищу, старшему лейтенанту Степешко Степану Даниловичу. Мы с ним заходили к вам, да вы аккурат на даче были...

Она вдруг бросилась к столу, зазвенела бутылками:

– Черт!..

– Что вы там, Агнесса Павловна?

– Погодите!..

Зло сказала, с сердцем, и вышла так стремительно, что полы халата крыльями взлетели в воздух. И вернулась быстро: Ковалев даже подивиться не успел, куда это ее унесло. Притащила початую бутылку коньяку и две чайные чашки: остальная посуда, видать, вся грязная была.

– Не все вчера вылакали.

Плеснула в чашки.

– Не надо, – сказал он. – Я при исполнении, а у вас печень большая. И ночь вы не спали, и курили много...

Он замолчал, потому что увидел вдруг, что из глаз ее медленно, одна за другой, текут слезы. И она их не вытирает, а только моргает часто.

– Семен Митрофанович! – Она глубоко вздохнула. – Семен Митрофанович, дорогой мой, вы же один-единственный во всем свете ко мне по-человечески относились... Нет-нет, вы не говорите ничего, вы помолчите, я говорить буду. Вы меня от всех этих баб, от всех этих Бызиных, от склок, сплетен, дряг вот уж сколько лет грудью своей прикрываете. Если бы не вы, сожрали бы они меня. Сожрали бы, Семен Митрофанович, сожрали!.. Вот почему... – Она помолчала, улыбнулась. – Реветь хочется, понимаете? Но это так, это пройдет... – Агнесса Павловна вдруг совсем по-девичьи шмыгнула носом. – Живу я беспутно, глупо, пошло живу – это я все понимаю. За это и наказана: ни семьи, ни детей, ни внуков – пустота впереди. И вы, вы один поняли, что мне... мне... Ну, скажите, что мне, Семен Митрофанович. Скажите на прощание.

– Страшно вам, Агнесса Павловна, – тихо сказал Ковалев. – А особо по ночам страшно, и потому вы ночей одиноких боитесь и себя губите, гостей со всего города созывая...

– А теперь и вы уходите, – перебила она. – Так будьте хоть вы счастливы, дорогой мой человек! Будьте счастливы среди детей и внуков: уж кто-кто, а вы заслужили это.

Она залпом выпила коньяк,хватила чашкой об пол: только осколки брызнули.

– На счастье!.. А сейчас уходите. Уходите, Семен Митрофанович, а то я так реветь начну, что не обрадуетесь!

– Хорошо. – Он аккуратно поставил чашку, пошел к дверям. – Я вас Данилычу передал, Агнесса Павловна, так что не волнуйтесь. Данилыч – человек очень серьезный...

– Не надо меня никому передавать. Не надо: я ведь не деревянная.

– Тогда... – Он потоптался, обдумывая, следует ли ей говорить то, что только сейчас пришло ему в голову.

– И говорить ничего не надо, – сказала она. – Не надо, пожалуйста, не надо: этак и до пошлостей можно договориться.

– Я к вам завтра зайду, Агнесса Павловна. Завтра в десять утра.

И вышел. И пока шел в следующую квартиру, все думал о том, что пришло ему вдруг в голову и о чем он завтра собирался беседовать с Агнессой Павловной.

А пришло ему в голову уговорить Агнессу Павловну бросить эту забубенную жизнь. Оставить город, продать дачу, а вместо нее купить дом в том селе, в котором он сам намеревался жить. Там бы она уж никак не была бы одинока, там бы вокруг нее живо бы завертелись и бабенки, и ребятишки, потому что в сельской местности на культурных людей голод стоит великий, а Агнесса Павловна когда-то кончила музыкальное училище и играла на пианино. Да и кроме пианино, кроме бесед да лекций, многим она могла привлечь детвору, потому что детвора – она доброту аж за восемь верст чувствует и платит за нее червонной любовью. А в доброте Агнессы Павловны Семен Митрофанович не сомневался: он доброту в человеке тоже за восемь верст чуял...

Основная трудность в том была, что надо было как-то завтра к этому вопросу подойти. Тут ведь не в словах дело заключалось – слова у нас одни на всех выданы, – тут основное – как эти слова сказать. Как не обидеть, не задеть, как согреть ими человека. Согреть – он об этом всегда думал, потому что мерзнет душа человеческая при центральном отоплении, мерзнет, льдинкой покрывается, и всегда надо стараться так сделать, так сказать, чтоб от льдинки той только роса осталась. Роса – это ничего, это хорошо даже. Роса – она освежает...

Шел старый милиционер по крутым лестницам, потел в грубой тужурке, отдувался на площадках и думал. Думал, как ему завтра росу эту в душе прокуренной пробудить...

8

И только перед знакомой дверью думы эти временно в сторонку отложил. Поправил фуражку, тужурку одернул, проверил, на месте ли галстук: словно не к жильцу шел, а к самому комиссару товарищу Белоконю, который ждал Семена Митрофановича завтра ровно в девятнадцать часов. Но уж очень уважал Семен Митрофанович этого жильца, очень уж разговаривать ему с ним приятно было, и поэтому младший лейтенант Ковалев к встрече всегда готовился строго.

А зауважал он его поначалу от удивления. Давно это было: он тогда только-только с домами этими знакомился и в эту квартиру позвонил по долгу службы. Времени было аккуратно половина пятого, но хозяйева чай пили, и ему пришлось приглашение к столу принять: чай – не водка, инструкция не препятствует. Хозяин и тогда был не молод (сейчас-то совсем уж облез и побелел!). Далеко не молод, а улыбался, как молодой, – глазами. Младший лейтенант представился как положено...

– Митрофанович? – Молодо глаза улыбались, озорно. – Воронежский, значит?

– Точно, – растерянно подтвердил Ковалев. – Как угадали?

– Это теперь гадать приходится, откуда родом, скажем, Руслан Спартакович: то ли из русской былины, то ли из футбольной команды. А в старые времена в обычае было называться по местным святым: Митрофан – значит, воронежский, Абрам – из Смоленска, Прокоп – из Великого Устюга. И имен в обиходе было куда больше, и толк в них был совершенно особый: не внешний, а внутренний, привязанный к своему месту, к своему роду-племени, к своей истории – не соседской...

С удивления началась их дружба. Семен Митрофанович терялся среди книг, которыми были заняты все стены до потолка. Терялся, слова путал, мямлил чего-то, но хозяин был прост, радушен, и вскоре Ковалев освоился. А освоившись, полюбил это место: старые книги, старую мебель, кабинетную тишину, уют. Но главное, что полюбил, – беседы хозяина. Разговоры он умел разговаривать, вот в чем дело было...

Так было и сейчас.

– Почему люди зло совершают, Артем Иванович? Зло ведь труднее совершить, чем добро, а совершают. И ведь голода нет, одеты все, обуты...

– А по-вашему, Семен Митрофанович, как: человек – добр или зол? Человек вообще?

– Вообще добрый он, Артем Иванович. Он ведь и рождается добрым: дети – они ведь все добрые, они ведь, что такое зло, и не понимают. Просто не понимают – и все.

– А добро?

– А добро понимают. Ведь ребенок, если с ним по-хорошему, он все свое отдаст. И поможет всегда, сколько сил имеет, без расчета. И слезы-то его первые – от зла. Он не понимает его, зло-то, потому и расстраивается. Нет, не от боли он плачет, Артем Иванович, он от обиды плачет. От обиды, что зло в мире водится, вот ведь какой факт получается.

Артем Иванович – маленький, седенький, в золоченых очках – утонул в кресле по самые плечи. Поблескивал острым глазом, обдумывал каждое слово. И угощал чаем с вафлями. Вафли какие-то особенные были: дочка из Москвы присылала.

– Да, мир добр, человек зол – так в старину считали. А рождаются все одинаковыми, и ребенок Гитлер ничем не отличался от любого другого ребенка. А потом стал отличатся. Почему? Очевидно, есть во зле какая-то притягательная сила.

– Нет такой силы, – застенчиво сказал Семен Митрофанович. – Добро – это сила, а зло... Зло, я извиняюсь, конечно, вы человек ученый, зло, Артем Иванович, бессильно. Потому бессильно, что души за ним нету. А без души какая же сила?

– Справедливо, Семен Митрофанович, совершенно справедливо. Только припомните, пожалуйста, кого-нибудь доброго из истории.

– Да я ведь насчет истории-то...

– А я, историк по профессии, никого не могу припомнить. Макиавелли – помню, Игнатия Лойолу – помню, Святополка Окаянного – тоже помню. Даже о Петре Великом думая, я в первую очередь казнь стрельцов вспоминаю. И знаете почему? Совсем не потому, что зло всеильно, а потому лишь, что зло есть отклонение от нормы. Зло есть горбатость духа человеческого, уродство его, а уродства, ненормальности, естественно, запоминаются прочнее, чем нечто обыденное. А норма-то для человечества суть добро, и будет время – будет, Семен Митрофанович, будет! – когда норма эта восторжествует окончательно, повсеместно и на веки веков!..

Артем Иванович давно уже о чем-то другом рассказывал – об истории чая, что ли, – а Семен Митрофанович, хмурясь, старательно обдумывал его слова. И чем больше думал над ними, тем все больше не соглашался и страдал.

– Я извиняюсь, конечно, очень, – опустил голову, тихо сказал он. – Вы человек ученый, вы книг вон шесть стенок прочли, а только очень я с вами, Артем Иванович, не согласен. Не обижаетесь?

– Помилуйте, Семен Митрофанович...

Семен Митрофанович осторожно откашлялся. Ему очень хотелось закурить, но хозяин был некурящим.

– Насчет того, что добро – нормальное дело, это я не спору. Это все – правда чистая, тут я под любым вашим словом по два раза подпишусь. Только, как бы сказать... Причину-то вы не вскрыли, Артем Иванович. Говорите, у злого душа горбатая. Верно, горбатая, а отчего? По какой причине?... Кто душу-то его с печки уронил? Нет ответа. А душа – она ни с того ни с сего горбатой стать не может. Тут причину надо иметь, вот ведь какой факт получается.

– И что же, Семен Митрофанович, нашли вы эту причину?

– Думается мне, нашел. – Младший лейтенант еще раз кашлянул, вздохнул поглубже. – Злой – он что такое? Он братъ все любит. Он под себя все подминает, о себе лишь заботится, а на остальных ему, я извиняюсь, наплевать. А добрый – он как раз наоборот, Артем Иванович. Он потому и добрый, что о себе не думает, что о соседе страдает, что готов рубаху с себя последнюю снять. Давать и брать – вот что значит добро и зло. И пока давать да брать не сроднятся друг с дружкой, пока не уравниются, до тех пор и зло с добром рядышком шагать будут. Рядышком по жизни.

– Значит, вы считаете, что всеобщая экономическая уравниловка способна ликвидировать эту извечную проблему?

– Нет, не считаю я так, Артем Иванович. Конечно, экономика – это могучий, как говорится, фактор, только не в ней одной дело. Экономика – это возможности: ну, купить там что, так я понимаю. А кроме купить, у человека еще желаний-то ой-ой! Он и славы хочет, и почета, и удобства жизни, и прав со всеми равных. Он братъ все это хочет, а он давать должен, вот в чем вся штука-то. Сейчас какой самый главный глагол вредно действует? Брать. А должен какой по всему смыслу жизни нашей? А должен – давать. И пока каждый человек сам это не прочувствует, пока сам не поймет, что давать обязан, до тех пор мы зло не выкорчем. Не искореним, как говорится, Артем Иванович.

– Ну а рецепт какой пропишем человечеству, Семен Митрофанович? Всеобщее самоусовершенствование, что ли?

– Воспитание, – серьезно сказал младший лейтенант и опять вздохнул. – Плохо у нас этот вопрос заострен, Артем Иванович. Перепутали мы где-то воспитание с учением и до сих пор никак в этом не разберемся. Что должна школа делать? Учить. А семья? А семья – воспитывать. Так почему же арифметике там, письму – этому специалист учит, а воспитание граждан

– государственное дело, правда ведь? – мамаше оно поручено. А мамаша от работы, от толчеи магазинной, от корыта, от кухни очумелая вся как есть. Ей не то что воспитанием, ей самой себе лоб утереть некогда, вот ведь какой факт получается... – Семен Митрофанович похмурился, посопел.

Все, что Ковалев сейчас Артему Ивановичу излагал, не вдруг родилось, не враз надумалось. Нет, Семен Митрофанович любил над жизнью поразмыслить, поворочать ее и так и этак, покантовать с грани на грань. И не просто поразмыслить, не повздыхать над трудностями, а свое предложить. Свое, взвешенное, обсосанное, ночами продуманное решение. Потому что не гостем он себя чувствовал в государстве своем, не винтиком, а хозяином. Хозяином с полной мерой ответственности. И потому решения эти он тоже в книжечку заносил: под особый параграф. И насчет этого параграфа тоже надлежало завтра с комиссаром Белоконем потолковать...

Итак, с семиэтажками, с дворцами этими покончено было раз и навсегда. С кем надо, поговорено, кому надо, указано, а кому просто: прощай, мол, гражданин хороший, дай тебе бог никогда с милицией не встречаться. Трудный это был отрезок, и шел в семиэтажки Ковалев всегда без удовольствия, всегда с напряжением и потому уставал. А когда на работе без удовольствия устаешь, разве ж это работа? Это не работа, это наказание господне. Каторга.

В этом смысле для младшего лейтенанта роднее всего пятиэтажки были. Жил там народ и попроще, и помоложе, и повеселее. Здесь если уж не любил кто кого, так об этом без всяких анонимок весь квартал знал. Если гулял кто, так и окна настезь. Если спорил, ноль-два звонили. А то и ноль-три случалось...

Но скандалов не было. В целом. Мирным путем конфликты разрешались, а разрешившись, гасли, и вчерашние противники на следующее утро мирно калякали в автобусе по пути на работу. И вот за эту простоту, за отходчивость и беззлобность и любил Ковалев свои пятиэтажки.

9

Правда, он их напоследок оставлял, на сладкое. А пока, выйдя из семиэтажек, крюк сделал и навестил три оставшихся в его перестроенном районе деревянных домишка. Прежде здесь село было, потом село это само собой в дачный поселок переросло, а в послевоенное строительство влилось в черту города и пошло под бульдозер. Почти все пошло: три дома всего уцелело. Два – потому, что в тупике оказались и на место их никто не зарился, а один – под голубой крышей, веселый такой, – один Семен Митрофанович сам сохранил. Лично. И крышу в прошлом году сам перекрасил голубой краской. Еле-еле краску такую достал. Нестандартную.

Собственно, понятия «сам», «лично», равным образом как и «мое», Семен Митрофанович употреблял редко даже в потайных своих мыслях. Стеснялся он этих слов, если за ними не стояло что-либо предосудительное: вина или проступок. Вот тогда младший лейтенант Ковалев громче всех кричал «сам» и «лично», а в прочих случаях предпочитал число множественное. Но домик под веселой голубой крышей как раз и явился причиной столкновения числа множественного с числом единственным, и тут уж младший лейтенант без слова «лично» так и не смог обойтись.

В те времена домик – черный, скособоченный, под ржавой крышей – торчал среди новеньких пятиэтажек, как гнилой зуб среди стальных коронок. С каждым месяцем все ближе и ближе подбирались к нему строители и в конце концов зажали с трех сторон. Кто-то уже свалил забор, кто-то спалил его на веселом костре, кто-то случайно сгрузил возле входной двери бетонные плиты, а домик стоял упрямо и несокрушимо, и хозяева его по-прежнему упорно отказывались переезжать куда бы то ни было.

Впрочем, хозяев не было. Была хозяйка. Одна: Мария Тихоновна Лукошина, по-местному – баба-яга.

До той поры Семен Митрофанович как-то мало с ней встречался. В конфликты ее с соседями не ввязывался, жалоб на нее со стороны соседей не принимал (зачем жалобы, когда вот-вот люди по разным улицам разъедутся?), в гости не заходил: не приглашали. Дважды, правда, пытался: первый раз аккуратно тогда, когда дома эти принимал, – но оба раза встречали его у дверей два сухих старушечьих глаза, и было в глазах этих что-то такое жесткое, такое неласковое, что младший лейтенант дальше порога и не заглядывал. И по взглядам этим, по угольям горящим под седыми бровями убежден был, что бабой-ягой старуху эту, одинокую и мрачную, назвали совсем не напрасно.

Второй раз он к ней официально ходил, как представитель, поскольку от строителей поступила жалоба, что старуха уезжать не хочет, домишко ломать не дает и вообще всячески мешает прогрессу на данной улице. Но и в тот день Семена Митрофановича пустили не дальше порога, и разговор поэтому получился на сквозняке.

– Отказываетесь, значит, гражданка Лукошина Мария Тихоновна?

– Дайте помереть спокойно.

– Но ведь вам предлагается отдельная однокомнатная квартира в новом доме со всеми удобствами. Вы, Мария Тихоновна, подумайте только: вам, одинокому человеку, наше государство дает целую квартиру! Да тут...

– Дайте помереть спокойно.

– Выселим, гражданка Лукошина. Силой ведь придется...

– Дайте помереть спокойно...

До сих пор он того разговора простить себе не мог.

Вот на следующий день утром все и случилось. Получил бульдозерист наряд, подогнал машину к дому, постучал вежливо:

– Эй, хозяйева, вытряхайтесь! Полчаса на сборы – и вонзаюсь я в вашу трухлявую жизнь!..

Не отвечали в доме. Стучал, кричал – молчание. Побежал за бригадиром, тот прораба притащил, прораб – штукатуров и маляров из соседнего дома, что уже был сдан под отделку. Тоже стучали, тоже кричали – молчал дом. Молчал, пока прораб не приказал двери выломать. Только взялись за них – радостно, надо сказать, взялись, потому что не каждый день малярам такое развлечение, – только взялись: распахнулись эти двери, как в сказке. И баба-яга на пороге. Молча крик весь выслушала и вроде не поняла: смотрела спокойно, за вещи не хваталась и даже не плакала.

– Ломать вас буду, бабуся, – сказал бульдозерист.

Поглядела на него угольями своими.

– Не бабуся я, – сказала. – Не бабуся, не мамаша, не теща: просто старая женщина. Очень старая женщина...

– Ломай! – закричал прораб. – Ломай, к чертовой бабушке, на мою ответственность! И так полдня потеряли!

– Как же можно так! – зашумели девчонки-маляры. – Права не имеете ломать! Перевезти сперва человека надо!.. Давайте, бабушка, мы вам поможем...

– Не надо, – сказала баба-яга. – Ничего не надо.

И ушла в дом. И пропала. Прораб, плюнув, к себе пошел, маляры – на обеденный перерыв, а бригадир сказал бульдозеристу:

– Встряхни домишко – она враз выскочит.

Тут старуха сама вышла. Вышла, как давеча: в домашнем халате, только портреты в руках. В рамках портреты, четыре штуки.

– Ломайте.

– А вещи? – закричал бульдозерист. – Да она чокнутая, бабка эта! Где ваши вещи?

– Какие вещи? Глупости вы говорите. Ломайте, и все. Ломайте. Только я погляжу.

Села на плиты и портреты рядом сложила. Мастер подошел, пошутить хотел:

– Иконы, что ли, спасаешь, бабка?

– Иконы, – сказала. – Святые мученики великорусские: святой Владимир, святой Юрий, святой Николай и святой Олег. Живыми сгорели под деревней Константиновкой двадцать девятого июля сорок третьего года.

– Сыновья? – только и спросил бригадир.

– Сыновья, – ответила. – Экипаж машины боевой.

Тихо вдруг стало: бульдозерист двигатель выключил. И сказал тихо:

– В дом идите, бабушка. Пожалуйста.

А сам – в отделение, где все, как было, и рассказал. Вот тогда-то и включился Семен Митрофанович на последнем, так сказать, этапе. Восемь раз в Архитектурное управление навещался: просил, умолял, доказывал. Школу нашел, где танкисты эти учились, музей там организовал. С частью списался, с деревней Константиновкой: и из части, и из деревни в назначенный день делегации приехали. Матери альбом от части преподнесли и модель тридцатьчетверки, а от деревни – четыре урны с землей. С могилы земля, где все четверо ее сыновей, все ее внуки и все правнуки лежали.

А стройдетали на другую ночь в иное место перевезли. И забор новый поставили. Это все просто было, это сами строители сделали. А вот чтобы домишко, где четверка эта по полу ползала, в план новый впихнуть, вот тут Семену Митрофановичу побегать пришлось. Вприпрыжку побегать, по этажам и кабинетам.

Но добился. Площадь чуть передвинули, сквер предусмотрели, и домишко тот в этот сквер как раз и вписался. И как только утвердили бумагу, так Семен Митрофанович и шагнул впервые за порог...

А теперь-то друзьями они с Марией Тихоновной были. И не только они: дом пионерами с утра до вечера кишел – тут музей братьев-героев организовали, и шуму в доме столько появилось, что Семен Митрофанович даже заопасался. Но Мария Тихоновна улыбалась, и уголья на лице ее давно уже теплыми стали: грели, а не жгли...

А голубой краской крыша у домика в сорок первом году была покрашена. Еле-еле младший лейтенант отыскал этот колер...

Но пока шагал он от дворцов к деревяшкам, думал совсем не о Марии Тихоновне, а об Артеме Ивановиче. Думал с уважением: сколько лет сидит среди книг в душевной, плохо спланированной квартире тихий, незаметный работяга-ученый, давным-давно позабывший о том, что у людей есть законные выходные и отпуска. И еще с неудовольствием думал, что у папаши Анатолия, к примеру, дача есть, а вот у Артема Ивановича ничего нету, и что это очень несправедливо. И тут ему пришло вдруг в голову, что несправедливость эту устранить легче легкого: в деревне той, куда он через сутки уезжать собирался, домишко купить труда не составляло. И даже, думал он, даже и покупать-то не надо, а надо только потолковать с руководством колхоза, какой умный и полезный для деревни человек Артем Иванович, и колхоз – Ковалев в этом ни секундошки не сомневался – немедленно выделит ему дом и, возможное дело, даже будет отпускать молоко и картошку. И, обдумав это, Семен Митрофанович сразу повеселел и решил завтра же еще раз навестить Артема Ивановича и во что бы то ни стало уговорить его переселиться к ним в деревню хотя бы на три-четыре месяца в году.

И тут Ковалев во весь рот заулыбался, представив и Агнессу Павловну, и Артема Ивановича в деревне: вот это была бы компания на старости лет, вот это была бы жизнь. Думал он об этом вроде бы и всерьез, с удовольствием даже думал, а сам улыбался, еще и потому, что все это было только мечтой. А мечтать Семен Митрофанович любил, но всегда посмеивался над собой за такую особенность.

Однако на подходе к домику с голубой крышей он улыбочку с лица смахнул: хоть Мария Тихоновна, как оказалось, никакой бабой-ягой не являлась, все равно через порог этот он с улыбкой перешагивать не решался. Права не имел, если разобраться.

Вторично Ковалев за этот вечер чай пил: на сей раз настоящий – из самовара. Не мог он Марии Тихоновне в этом отказать и мужественно хлебал из стакана кипятков, сидя за тихим вдовьим столом на кухоньке.

– Конфеты берите, Семен Митрофанович. Пионеры вчера гостинец принесли.

– Спасибо, Мария Тихоновна. Вкусные конфеты.

– Володя шоколадные очень любил. И Коля. А Олежка с Юрой равнодушны к ним были. Я даже удивлялась, до чего равнодушны...

И это тоже в обязанность входило: слушать душеньку эту осиротелую. В сотый раз одно и то же слушать и вместе с нею переживать. Мелочь, пустяк, а старушке почти праздник: с кем же еще она о сынах-то своих поговорит, как не со старым человеком?...

– Дружные, просто на удивление дружные мальчишки были. Ну, конечно, ссорились иногда, не без того. Но ссоры их никогда дальше порога не шли, и никто про это на улице и не знал...

Насчет этих воспоминаний Семен Митрофанович специально Степешко предупреждал. И водил его сюда трижды: для тренировки. Но Данилыч был человеком серьезным и сам понимал, где, как и кого слушать требуется.

– Они в первый же день решили, что будут в одном танке воевать. В первый же день, в воскресенье то. А сложно было: Володя уж действительную отслужил, а Колюше и семнадцати не было. И ни за что их вместе брать не хотели, и все: и райвоенком, и горвоенком – все только ругались. Вот тогда Олежка – он всегда все придумывал и в школе только на отлично учился, тогда Олежка и предложил написать письмо в Москву. Самому Сталину...

Все знал Семен Митрофанович. Все документы, все письма их наизусть выучил, но поддакивал, когда надо, и вздыхал, когда положено.

Что после человека на земле остается? Память? Нет, память – это надстройка, это штука непрочная. А фундамент у нее – дело, которым человек всю жизнь занимался. А если человек этот ничего сделать не смог? Если он, как этот Колька, в неполных девятнадцать свечкой в танке сгорел, тогда что?... А разве в бою свечкой сгореть – это не дело? Это не просто дело – это сумма всех дел, итог жизни, то, что прописью писать положено. И – удивляться: откуда ж у людей характер берется, что его и на такое хватает?...

– А вот скажите мне, Мария Тихоновна, по правде скажите: пошли бы ваши ребята добровольно, если бы знали, что погибнут?

Спросил – и сам испугался: глупый вопрос получился. А ведь он совсем о другом узнать хотел: он узнать хотел, чем те, сороковые, отличались от этих, семидесятых.

– А вы сомневаетесь в этом, Семен Митрофанович?

Опять у нее глаза угольями вспыхнули. И нос словно заострился: баба-яга проглянула.

– Я-то не сомневаюсь. Я понять хочу, Мария Тихоновна. И в смысле морали, и в смысле общем... Девочек ваши ребята не били случаем? Не обижали? Как вы думаете, может человек, который на женщину руку поднял, героем стать? Я считаю твердо: нет, не может. Герой – он и в мирной жизни герой, как вон Гагарин наш; вот о чем я думаю, Мария Тихоновна.

– Мальчики хорошие были. Очень хорошие. Это я вам не как мать говорю. Это я истину говорю.

– Вот-вот! – очень обрадовался Семен Митрофанович: он все никак не мог сформулировать свою мысль. – И я об этом же самом, Мария Тихоновна, об этом же самом! А у молодежи, знаете, часто неверное представление: раз, мол, драчун, раз хулиган, значит ничего он не боится и обязательно будет героем. А тут все как раз наоборот. Чем хуже человек в смысле дисциплины, тем скорее всего не выдержит. Не выдержит настоящего боя, потому что настоящий бой выдерживают настоящие люди.

– Да, – сказала Мария Тихоновна. – Люди они были настоящие...

– И потому у меня к вам огромная просьба, Мария Тихоновна. Вы теперь часто с молодежью встречаетесь – подчеркните эту мысль! Рассказывайте им, какими настоящими парнями были ваши сыновья. Как они слабых защищали, как девушек берегли, как старшим всегда почет оказывали...

– Знаете, что я немцам забыть не могу, Семен Митрофанович? – вдруг ни с того ни с сего сказала она. – Сыновей, думаете? Нет, сыновей я им забыла. Я им внуков своих забыть не могу. Внучаток...

А он о воспитании заладил... А у человека этого вместо сердца одна рана незаживающая. И говорить он может только о боли своей, и ни о чем другом.

Вот так и скисло у него настроение на пути от семиэтажек к пятиэтажкам. И никто в том виноват не был, только он сам. Сам, лично, потому как ближайшую задачу посчитал самой главной для всех, для всего населения.

Расстроился Ковалев. Так расстроился, что остановился посреди улицы и закурил. И курил, пока не окликнули:

– Эй, начальник, прикурить позволишь?

Оглянулся: верзила под два метра. Глазки заспанные, кепочка набок, перегаром разит. И лицо незнакомое: не из его домов лицо, это точно... Семен Митрофанович нарочно спички помедленнее доставал, чтоб всмотреться. Верзила прикурил, сказал с зевком:

– Стоишь, начальник?

– Стою.

– Ничего у тебя работенка. Непыльная.

И пошел себе вразвалочку. Усмехнулся младший лейтенант:

– Непыльная...

Он на такие встречи только поначалу обижался, а потом понял, что обижаться-то и не следует. Ведь как раз у таких вот, заспанных, он и проторчал двадцать пять лет как бельмо на глазу: честный гражданин милицию не замечает. А раз так, не обижаться надо: гордиться.

И, как ни странно, встреча эта уравнивала перекос в душе его. Тот перекос, что возник после неуклюжего разговора с Марией Тихоновной. Решил Ковалев еще раз зайти к ней, завтра, как от Агнессы Павловны и Артема Ивановича выйдет. Зайти повиниться за бестактность сегодняшнюю, прощения попросить и попрощаться. А решив так, повеселел Семен Митрофанович и к любимым своим пятиэтажкам зашагал в лучшем виде.

10

Был вечер, люди давно уже вернулись с работы, пообедали и теперь вылезли из всех подъездов во дворы подышать свежим воздухом. И в этом тоже была особенность пятиэтажек: лезли люди из них во двор при малейшей возможности. Стремились друг к другу, к общению, к разговорам, легко заводили знакомства, и поэтому во всех этих пятиэтажках не было ни тайн, ни секретов. Никто по норам своим не прятался – то ли потому, что жители привыкли к коммунальным квартирам, то ли потому, что, толкаясь по утрам в транспорте, работая на заводах, они уже органически не могли жить изолированно, жить только своими интересами. И Семен Митрофанович тоже не мог жить изолированно, тоже не мог жить только для себя и ради себя. И поэтому чувствовал он себя здесь как дома, и его принимали как своего, без всяких скидок на род занятий.

– Здорово, Семен Митрофаныч! Ну, как служба идет?

– Да ведь, считай, прошла уже, Кирилл Николаевич, закругляюсь я. Дела сдаю старшему лейтенанту Степешко... Я вроде знакомил тебя с ним?

– Знакомил, Семен Митрофаныч, знакомил. Закуришь моих?

Семен Митрофанович присел на скамейку рядом с суровым мужчиной со шрамом на лице, в белой рубашке, домашних брюках и в тапочках. Они закурили, и к ним со всех сторон потянулись отцы семейств. Рассаживались вокруг, кто где уместился, закуривали, шутили, вспоминали свое, смеялись. И младший лейтенант Ковалев, вдруг размякнув, расстегнул тужурку и снял давивший располневшую шею форменный галстук.

– ...А она в ответ: «Знаю, – говорит, – я вас, командировочных: улетишь-уедешь, а мне это ни к чему...»

– Хо-хо!.. Ну Петрович дает!

– Не Петрович – девки дают прикурить!

– Так ты ни с чем и отчалил?

– Это тебе, брат, не в городе. Это Заволжье, там девки до сей поры кержаками пуганные.

– Вот где жену-то искать, Серега! Мотай на ус.

– А зачем мне пуганая? Мне непуганые больше нравятся.

– Глупый ты, Серега, парень...

– Ладно, отцы: вы свое, мы свое. Так, Семен Митрофанович?

– Смотря в чем свое, Сережа.

– Да он все больше насчет девок, Митрофаныч!

– Я всерьез, отцы: мне жениться пора.

– Гуляешь с кем?

– Я-то?... Да была тут одна, с фабрики. – Парень смахнул улыбку, прикурил. – Хорошая девчонка, ладная. А потом с Толиком крутанула.

– С каким таким Толиком?

– Да с семиэтажек, Митрофаныч.

– А ты и спасибо сказал? – спросил суровый мужчина. – Увели девку, а он... Дал бы ему пару раз без третьих глаз!

– А мне это, Кирилл Николаевич, ни к чему. Силой любить не заставишь...

Вокруг гомонили о чем-то, а Семен Митрофанович вдруг выключился из общего хора, вдруг опять вспомнил воробьюху в служебном газике, синяки на ее лице. И еще Анатолия вспомнил, Толика этого: его трусоватую растерянность, его наглинку и – туфельки в коридоре, которые потом ушли как бы сами собой.

Нет, не мог Серега про эту самую воробыху здесь толковать: слишком уж просто все тогда выходило. Хотя по-прежнему неясность оставалась: за что девчонку эту били и кто же такой все-таки этот самый Валера?

– Ты, Сережа, Валеру, случаем, не знаешь?

– Какого Валеру, Семен Митрофанович?

– Ну того, что с Анатолием дружит.

– Н-нет, Семен Митрофанович, вроде у Толика никакого Валеры в корешах не водится...

Не знаю, может, сейчас появился. А что?

– Да так, на всякий случай.

– Напарник у меня Валера. Валерка Гольцов...

– Да нет, Сергей, нет...

Зря он, конечно, про Валеру этого спросил, ни фамилии, ни примет, ни адреса его не зная. Стареть, видно, ты начал, Семен Митрофанович, что вопросы такие ставишь. Стареть...

Но Серегину девчонку, которую отбил Анатолий из семиэтажки, Ковалев все-таки постарался запомнить. Запомнить и сообщить об этом завтра старшему лейтенанту Данилычу.

– Уходишь, стало быть, Семен Митрофанович? Покидаешь нас, грешных?

– Ухожу, мужики, – вздохнул Ковалев, не выдержал. – Всякой службе свой срок положен.

– Неужто же мы вот так, всухую, Митрофаныха отпустим, ребята? Не чужой же он нам.

– Верно говоришь, Гриша. Тут у меня где-то два рубля жена проглядела.

– Да у меня рублевка.

– Держи трояк, Серега: тебе все одно бежать, как младшему.

– Сбегаю.

– Вот еще держи. Пятерка с нас троих.

– И с меня взнос. Закусочки прихвати, Серега.

– А у меня дома еще грибки сохранились...

– Гляди, супруга засечет, больше не выпустит.

– Это Митрофаныха-то провожать не выпустит? Да ты что? Или она не человек у меня?

– Стойте, что это вы? Не надо ничего, не надо...

– Ты, Митрофаных, помалкивай. Ты гость сегодня.

– Товарищи, я же на службе. Я же официально прошу вас, граждане...

– А мы тебе сегодня не подчинимся...

– Вот, Сергей, еще взнос: с нашего подъезда.

– Не допру я столько, отцы...

– Пацанов для подхвата захвати – учить тебя...

– Давай, Серега, не задерживай, а то мужской отдел закроют!

– Граждане жители, я же официально предупреждаю, что не могу. Не имею права. –

Семен Митрофанович решительно напялил галстук и застегнул на все пуговицы тужурку. – Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей...

– погоди, Митрофаных, – перебил строгий Кирилл Николаевич. – В семиэтажках был?

– Ну был.

– Бабу-ягу навещал?

– Ну, навещал.

– Так. Кого у нас по плану охватить должен?

– Ну, это известно! – улыбнулся Гриша, шустрый, улыбочивый мужчина без возраста. –

Кукушкина повоспитывать надо; верно, Семен Митрофанович?

– К Кукушкиным зайти требуется, – подтвердил Ковалев.

– Ну так зайти, – сказал Кирилл Николаевич. – Исполни служебный долг, пока мы тут гоношиться будем. Иди, иди, чего время зря теряешь? Все равно ведь всухую не выпустим.

Все сейчас смотрели на него, улыбались, и по этим улыбкам Семен Митрофанович понял, что всухую отсюда он действительно не уйдет. Придется выпить, хоть самую малость, а придется. Чокнуться с этими развеселыми, шумными мужиками, пожелать им счастья в трудовой и личной жизни и распрощаться. Да, отступить тут было некуда, и младший лейтенант Ковалев сказал:

– Ладно, уговорили. Пойду пока к Кукушкину...

– А Кукушкина дома нет! – крикнул какой-то малец с велосипедом.

– А ты найди! – строго сказал Кирилл Николаевич. – Найди и скажи, что его немедленно требует на квартиру Семен Митрофанович. Живо давай!

И мальчишка сразу же куда-то исчез.

Хороша была Вера Кукушкина: статная, чернобровая. Она стояла в дверном проеме, как в раме, и Семен Митрофанович, улыбаясь, любовался ею. Любовался и жалел: глаза у нее потерянные были. Красивые серые глазищи и – потерянные. И еще синяк на шее. Возле уха.

– Здравствуй, Вера Кукушкина. В дом-топустишь?

– Семен Митрофанович, зачем вы?

– Надо, надо, нечего! Ну, чего на пороге-то стоим?

– Так нет его. Опять с дружками пьет, видно.

– А он мне и не нужен. Мне ты нужна, Вера.

– Я?... – улыбнулась все-таки чернобровая. – Зачем же я-то?

– Узнаешь. – Семен Митрофанович отстранил ее, вытер ноги, повесил у входа фуражку. – Ну, хозяин в комнатах встречает, хозяйка кухней хвастает. Так куда же пойдём, Вера?

– Нечем мне хвастать, Семен Митрофанович.

И все же в кухню провела. Сели там на табуретки – друг против друга. Уставился Ковалев в ее налитое, без намека на морщиночку лицо, опять заулыбался. А она отвернулась.

– Смеетесь всё?

– Зеркало тебе показать?

– Зачем мне зеркало?

– Нет, все-таки где оно у тебя? – Младший лейтенант встал, и хозяйка хотела было следом подняться, но он удержал. – Сам принесу. В комнате?

– В комнате. А зачем, Семен Митрофанович?

Семен Митрофанович, не отвечая более, прошел в комнату: бедная комнатка была, пропитая. Кровать детская, диван продавленный, стол, стулья да шкафчик с полкой. На полке стояло зеркало, но Семен Митрофанович вдруг потерял к нему интерес, потому что в углу играл худенький мальчонка лет пяти: складывал что-то из чурок и кубиков. Увидев младшего лейтенанта, он неуверенно заулыбался, захлопал большими, как у матери, ресницами.

– Привет, Вова! – сказал Ковалев и с трудом присел на корточки возле ребенка. – Дом строишь?

– Дом... – шепотом согласился Вова, хотя строил совсем не дом, а Кремль.

«Запуган... – подумал Семен Митрофанович. – Ай запуган парнишка, запуган!..»

И вдруг остро пожалел, что за делами, за хлопотами сегодняшнего самого последнего дня напрочь позабыл об этом запуганном, тихом ребенке и не принес ему ни вафли, ни конфетки.

– Дом, – повторил. – А с кем же ты жить там будешь?

– С мамой, – тихо ответил мальчик.

В забитости его было что-то болезненное, почти ненормальное. И Семен Митрофанович сразу вспомнил своих сорванцов: шумных, горластых, веселых...

– А с папой?

Вова молчал, еще ниже опустив голову.

– С папой будешь в этом доме жить?

– И с папой... – послушно ответил ребенок, но ответил еле слышно и без интонаций.

– Да, – вздохнул Семен Митрофанович, тяжело поднимаясь. – Ты побольше дом строй, Вова. Попросторнее...

Он еще раз тоскливо оглядел полупропитуемую эту комнату, в которой из каждой прорехи выглядывала самая неприкрытая бедность, снял с полки зеркало и, озлобившись вдруг, большими шагами вышел на кухню.

Вера Кукушкина сидела между кухонным столиком и газовой плитой – на обычном хозяйском месте, но он сразу почувствовал, что место это не ее и что у нее здесь вообще нет своего места. Она улыбнулась Семену Митрофановичу той же тихой, испуганной улыбкой, какой только что ему улыбался ее сынишка, но Семен Митрофанович еще туже сдвинул сердитые брови, не давая в своем сердце простору для жалости.

– Поглядишь, – сказал он, держа перед нею зеркало, как икону, на животе. – Хорошенько поглядишь, гражданка Кукушкина.

– А чего? – робко удивилась Вера. – Зачем это?

– Хороша? Нет, ты глядишь, глядишь! Ну как, хороша?

– Н-не знаю...

– А вот я знаю. Я точно знаю: хороша. Очень даже. И глаза у тебя, и брови, и губы, и зубы – ну все как надо, все на своем месте и все в лучшем виде. – Младший лейтенант вдруг почему-то опять вспомнил воробиху и расстроился еще больше. – Ты в таком соку, в таком, я бы сказал, ядреном теле состоишь, что мужики за тобой, если захочешь, табунами ходить будут. Будут не для глупостей каких, а потому, что мать в тебе видят. Мать человеческую!.. Ты же здоровая женщина, Вера, ты же рожать должна! Ты же таких парнишек, таких девчонок жизни подарить можешь, что хоть в витрину их ставь!.. А что имеем, Вера? Что мы имеем-то на текущий момент?

– А-а!.. – вдруг закричала она, тут же испуганно зажав себе рот. Слезы бежали по тугим щекам, путаясь в золотистом пушке. – Не надо... Не надо, пожалуйста, не надо!.. Ну зачем вы опять, зачем же?...

– Поплачь маленько, – вздохнул Семен Митрофанович.

Отложил зеркало, закурил, присел напротив. Вера уже привычно вытирала слезы, но полные губы ее еще дрожали и кривились.

– Мы с Вовочкой через день в ванной ночуем, – тихо сказала она. – Как он пьяный придет, так мы в ванную. Запремся там на задвижку и сидим в темноте, потому что он свет нарочно гасит. Я сыночку сказки рассказываю веселые или пою, чтоб не пугался он в темноте-то... У меня там кожушок висит, и одеялку я прячу. Постелю кожушок в ванну, ляжем мы с сынком, укроемся и – до утра.

Ковалев только крякнул. Выразительно крякнул, потому что ругнуться ему хотелось от всей души. Вера посмотрела, улыбнулась понимающе.

– А что делать, Семен Митрофанович? Развестись, скажете? Так я готова. Я хоть сейчас готова, если бы одна я была. А с сынком куда же мне? Родителей у меня нету, угла нету, и специальности тоже нету. Развести-то разведут, в этом сомнение меня не тревожит, люди жалостливые, а жить где буду? Угла-то ведь никто не даст, значит опять с ним? Уж не как жена законная, а как неизвестно кто, да? Ну и что изменится? Пить, думаете, перестанет? Нет, не перестанет. Бить меня, думаете, перестанет? Тоже не...

– Ну тогда-то мы его за избиеение женщины... – начал было младший лейтенант.

– А сейчас он кого бьет, лошадь, что ли? Нет, Семен Митрофанович, мне не разводиться с ним надо. Мне надо...

– Слушай, Вера, – таинственно зашептал вдруг Ковалев и даже подсел поближе для убедительности. – Слушай, Вера, я вот что тебе скажу. Ты здоровая, ты богатырь прямо, а он, Кукушкин твой? Он же, по силе ежели судить, в половину тебя будет, никак не больше. Да еще

и в пьяную-то половину... Так ты, знаешь, что? Ты дай ему как следует, кулаком дай! Кулаком прямо по роже его, по роже пьяной!..

Вера смотрела серьезными круглыми глазами, и Семен Митрофанович вдруг запнулся. Покашлял, похмурился, вновь в папиросу вцепился.

– Нехорошо, – тихо сказала она и осуждающе покачала головой. – Ай, как плохо вы советуете, Семен Митрофанович! Как это так: дай кулаком по роже? Это бить, значит, так выходит? Человека бить, да?... Ай, ай, ай, ну как можно-то, а?

– А что? – хмуро спросил Семен Митрофанович. – Он же тебя бьет?

– Так он дурной, – с непреклонной уверенностью сказала она. – Он очень дурной, а вы мне такой же стать предлагаете? Да разве ж можно такое советовать, Семен Митрофанович?

– Ну, учи меня, учи, – проворчал смущенно Ковалев. – Будто ты милиция, а я неизвестно кто...

– Так это же вы от добра сказали, разве я не знаю? – Вера улыбнулась ему, словно маленькому, ласково и покровительственно. – Вы нас с Вовочкой жалеете очень, и мы это знаем прекрасно даже. Только не советуйте нам такое, ладно? Мы ведь с сыночкой человеками хотим остаться...

Семен Митрофанович вскочил, сделал круг и снова сел верхом на табурет.

– Ах, Верунька, Верунька!.. – вздохнул он. – Правда твоя, во всем твоя правда, и крыть мне нечем. Конечно, сгоряча я про драку-то, сгоряча. Это нельзя делать, это и закон запрещает, и вообще скотство это! Нет, тут другое надо, и ты прости меня, старого, что посоветовал...

– Да что вы, Семен Митрофанович...

– В деревню я завтра еду, – не слушая ее, продолжал младший лейтенант. – Там уже все семейство мое, там дом у нас имеется, хозяйство какое-нито заведем, может, даже кабанчика купим. А поезд завтра без пяти двенадцать ночи или, официально сказать, в двадцать три пятьдесят пять. И поедем мы все втроем: я, ты и Вовка, вот какой факт получается...

– Нет... – неуверенно улыбаясь, она затрясла головой. – Нет, что вы, что вы...

– Завтра без пяти двенадцать, – твердо повторил он. – Собирайся.

– Семен Митрофанович... Семен Митрофанович, миленький, что вы говорите-то, что?

Она опять заплакала, но не горько, как тогда, а радостно и словно бы с облегчением. И поэтому Ковалев улыбнулся и строго сказал:

– Не реви. У нас в семье реветь не положено.

– Семен Митрофанович, миленький, зачем же вам обуза-то эта, зачем? Ведь не отдаримся мы вам ничем за добро ваше, ничем же не отдаримся, потому что за такое и отдариться-то невозможно, хоть две жизни проживи!.. А Вовочке, Вовочке-то моему воздух деревенский нужен, ой как еще нужен: мне врач говорила!.. Нет, нет, это же не то я говорю, не то!.. Господи, я здоровая, я все по дому делать буду! Я полы мыть буду, стирать буду, воду носить...

Слезы мешались у нее со смехом, а Семен Митрофанович очень боялся такой смеси и хмурился еще больше.

– Перестань, – сказал он строго. – И не выдумывай: в колхоз работать пойдешь. Или учиться, пока мы с женой еще в силе, еще за внучатами углядеть можем.

– Учиться? – Она счастливо рассмеялась, и круглые слезы запрыгали, заиграли на тугих щеках. – А что? Я пять классов кончила, у меня даже пятерки были. Да нет!.. – Она опять засмеялась. – Я работать буду. Я очень теляток люблю. Я... Подождите!..

Она вдруг легко, по-девичьи сорвалась с места, кинулась в комнату. Семен Митрофанович улыбнулся ей вслед, покачал головой: немного, ой немного человеку для радости надо. Совсем немного, а мы подчас и этого ему не даем: либо жалеем, либо забываем...

Сияющая Вера ворвалась на кухню, крепко зажав в руке что-то, аккуратно завернутое в белую тряпочку. Она положила на стол этот пакетик, поглядывая на Ковалева и загадочно

улыбаясь, развязала узелки на тряпочке и с торжеством распахнула вдруг эту тряпочку перед его носом.

– Вот!

Это были деньги: десятки, старательно уложенные одна к одной. Младший лейтенант зачем-то потрогал их пальцем, спросил вдруг строго:

– Откуда?

– Заработала, – лукаво сказала она. – Не подумайте дурного чего: я тайком от Кукушкина в уборщицы нанялась. Давно уж – два года скоро. Я, как поняла, что мне не жить с ним, так и решила: деньги скоплю. Скоплю сотен пять, а тогда уж и уйду от него. Угол сниму с сыночком или завербуюсь куда: деньги всегда пригодятся, правда?

– Правда, – сказал он. – Ты забери их, Вера. На книжку положи: на них и оденешься и обуешься.

Отодвинул ей деньги, но она встретила на полпути его руку и вновь передвинула эту тоненькую пачечку к нему. И так они некоторое время потолкались: Вера смеялась, закидывая голову, а он смотрел на синяк на ее шее и не смеялся, а только повторял:

– Ты спрячь, спрячь...

– Нет уж, Семен Митрофанович, нет уж.

– Вера... Что это еще?

Она вдруг перестала смеяться.

– Вы нас всерьез брать с собой хотите или так, от жалости просто сказали? Всерьез, сама знаю, а раз так, то деньги вы возьмите. Нет, нет, Семен Митрофанович, родненький, теперь мы с сыночком ваши полностью, и все у нас общее должно быть. Берите, Семен Митрофанович, берите, а то не поверю, что завтра увезете нас из ада этого кромешного в рай земной. Ну, берите же, берите, здесь уже много, здесь четыреста двадцать...

Но Ковалев все еще не решался брать эти плаканные-переплаканные деньги, заработанные горбом на заплеванных лестницах. Он словно видел сейчас, как трет она ступеньку за ступенькой, и потому хмурился, думал, как бы уговорить ее положить все на книжку, но Вера смотрела на него такими счастливыми глазами, что не поворачивался у него язык выкладывать соображения с деловым прицелом.

– Барахлишка много не бери, чего возиться-то? Не в тряпках счастье, а все, что надобно, мы и там купим.

– Да у меня и нет-то ничего: все Кукушкин пропил!

Это она беспечно сказала, весело, словно уже и не жила в этом пьяном угаре, словно уже шагнула в другую жизнь – с зеленой травой, птицами по утрам и глупыми добрыми телятами...

– Ну, добро. – Ковалев положил тряпочку с деньгами во внутренний Карман тужурки, подумал, что о них следует доложить комиссару, и сказал: – Завтра я еще по магазинам похожу: давай решим, что прикупить надо.

– А ничего не надо! – сказала она. – Там уж, как приедем, тогда и решим.

– Совсем-совсем ничего?

– Нам не надо. Вы общее покупайте, для всех: знаете ведь, что в деревне-то требуется. А нам... Знаете, чего? Вы Вовочке пистолетик купите, ладно? А то Кукушкин вчера пистолетик его каблуком раздавил, так сынок уж так в ванной плакал, так плакал...

– С пистонами пистолетик-то?...

– Нет, простой. Из пластмассы: они дешевенькие.

– Из пластмассы? – Ковалев улыбнулся. – Я своим огольцам сам пистолеты делал. Из дерева. Такие пистолеты, что прямо от настоящих и не отличишь, ей-богу!

– Да Вовка еще маленький, что понимает?

– Сделаем и ему пистолет. Настоящий пистолет, как положено. – Семен Митрофанович встал. – Завтра я в девятнадцать часов у товарища комиссара Белокопя быть должен, вот какой факт получается. А от него – прямо к тебе. Готовься.

11

Так и не дождался Семен Митрофанович Кукушкина. Да и не нужен ему был Кукушкин этот, если разобраться: о нем и Данилыч знал, и все их отделение, и в смысле профилактики здесь все было в порядке. А в смысле жизни он Семена Митрофановича больше не интересовал, так как Семен Митрофанович уводил от него этих людей.

Но, по счастью, лестница длинной была, а козлом скакать Ковалев давно отучился. По счастью потому, что еще на спуске он успел все заново обдумать и решить, что не поговорить с Кукушкиным права не имеет. Нет, не о вливании тут уже шла речь, а о том, что – хотел этого Семен Митрофанович или не хотел – объективно получалось, что именно он уводил от Кукушкина жену и ребенка. Хоть и не для себя уводил, а все-таки мужской закон требовал тут играть в открытую, и не повидаться с водопроводчиком – пьяным или трезвым, не важно – было уже невозможно.

Поэтому, спустившись во двор, он поворотил налево, к котельной. За домами уже слышались шутки, смех и веселые мужские голоса: там, среди детских песочниц и качелей, опустевших ввечеру, собирали для него, младшего лейтенанта милиции Ковалева, прощальный товарищеский ужин. Но Семен Митрофанович на это сейчас не отвлекался, а раздумывал, где бы ему найти Кукушкина, и надеялся, что в котельной.

Однако Кукушкина в котельной не оказалось. Дежурный слесарь – немолодой уже, домовитый как мышь, которого во всех квартирах запросто звали Сашей, – пояснил:

– Увели его, Семен Митрофанович. Руки, значит, за спину – и как положено.

– Куда увели?

– На профилактику, – хохотнул Саша. – Сильно надоел он жильцам, Семен Митрофанович, если правду сказать. Деньгу цыганит, шабашничает, а дело свое исполняет плохо, и краны текут во всех квартирах.

– Кто же увел-то?

– А этот, из второго корпуса. Ну, у которого сыновья...

Дело было серьезным, и поэтому младший лейтенант рванул из котельной, как молодой оперативник. Забежал за дом, мельком глянул, что врытый в землю стол для пинг-понга, по которому ребята с утра до вечера шариком щелкали, женщины накрывают белыми скатертями. Но этого Семен Митрофанович как-то не осознал, потому что профилактика была в полном разгаре.

Хмурый и трезвый Кукушкин стоял в центре мужского круга, заложив за спину корявые руки. Росту он был небольшого, но кряжист, широк в кости и на кулак увесист. Перед ним за детским столиком сидел Кирилл Николаевич.

– Сегодня у нас очень торжественный вечер, Кукушкин, – говорил он. – На вечере этом присутствовать ты будешь как полноправный жилец, а вот пить мы тебе не дадим. Ни грамма.

– Очень надо, – сквозь зубы сказал Кукушкин.

– Не надо, – подтвердил Кирилл Николаевич. – Пить не надо, а вот торжественное обещание Семену Митрофановичу тебе дать придется. При всех!

– Какое еще обещание?

– Торжественное обещание, что ты никогда пальцем жену не тронешь...

– Ну, пальцем-то пусть трогает! – засмеялся Петрович.

– Он понимает, что тут к чему, – улыбнулся Кирилл Николаевич. – Он у нас не дурак, Кукушкин-то. И соображает, что ежели сегодня выкинет фортель какой, так завтра с ним разговаривать буду не я, а сыны мои – Витька да Володька.

Сыновья Кирилла Николаевича – близнецы-богатыри – вместе учились в заводском техникуме, вместе занимались тяжелой атлетикой, вместе ходили на танцы. Были они парнями

скромными и незлобивыми, но не стеснялись и подрались, и кто-кто, а Кукушкин про это знал хорошо.

– Понял, – хмуро сказал он. – Сделано, считай.

– Вот это разговор! – улыбнулся Гриша. – Эй, пацаны, за Митрофаныхем сбегайте.

– Здесь я, – сказал Ковалев. – Добрый вечер, граждане.

– Здесь он! – почему-то в восторге прокричал Гриша. – Мы его, понимаешь, всем миром искать собрались, а он здесь!

И все сразу засмеялись, заговорили, точно слова Гриши или присутствие младшего лейтенанта было событием чрезвычайно занятным. Семен Митрофанович понимал, что происходит это от радостного волнения, вызванного и наспех организованной складчиной, и им, младшим лейтенантом Ковалевым, и возникшим вдруг чувством необычайной общности всех людей во дворе.

– А жены нам мужской-то выпивон забраковали! – громко рассказывал чернявый мужчина, который собирался сбежать за грибками. – Мы, говорят, тоже Митрофаныха проводить желаем!

– А мы тут, понимаешь, с товарищем Кукушкиным немного поговорили, – несколько смущаясь, признался Кирилл Николаевич. – Кукушкин – парень артельный и самостоятельный, и слово у него – сталь, Митрофаных.

– К столу просим, к столу! – певуче прокричала рослая и скандальная жена услужливого Гриши.

– Ну, уж закусить разве что... – сказал Ковалев, садясь к столу.

Удивительные это были проводы! И наспех накрытый стол для пинг-понга, и детские качели рядом с ним, и одинаковые силуэты домов по обе стороны, и кресло, которое Гриша притащил из квартиры специально для него, для Семена Митрофановича. Удивительным здесь было все, но самыми удивительными здесь были люди.

Все знал про них младший лейтенант Ковалев. Знал, что рослая супруга поколачивает безответного Гришу; что Петрович крутит с продавщицей из соседнего магазина; что суровый Кирилл Николаевич скуповат и постоянно ворчит на сыновей за каждую копейку; что вот этот как-то ни с того ни с сего ударил вон того, а тот где-то обманул вот этого и что все они знают то, что он все знает. Но сегодня это стало вдруг каким-то мелким, второстепенным, отошло на задний план, заслонилось добрыми, мягкими, приветливыми лицами.

– Расстаемся мы сегодня с нашим Семеном Митрофановичем, – говорил, держа в руке стакан, Кирилл Николаевич. – Почему же мы так с ним расстаемся? Что он нам – сват, брат, сосед хороший? Отчего же происходит это? Да от того, что душа в нем есть, в Митрофаныхе нашем. Есть душа, товарищи неверующие!..

Тут все разом засмеялись, загомонили, закричали. Кирилл Николаевич выждал, когда стало тихо, и продолжал:

– Вот за эту твою душу и относимся мы к тебе с полным нашим уважением, Семен Митрофанович. И дай я тебя, фронтовичок дорогой, по-нашему поцелую, по-гвардейски!

– За нас! От всего нашего имени! – кричал Гриша.

– Женщинам поручите, – советовал Петрович. – Товарищи женщины, окажите внимание Семену Митрофановичу!

Да, много было шуток, много речей, много веселья. Мужчины тарелочку его наполнять не забывали, хоть и не ел он почти ничего: не хотелось. Папиросами угощали: каждый требовал, чтоб он непременно из его пачки закурил, и Семен Митрофанович старался никого не обидеть и только повторял:

– Спасибо. Спасибо, граждане. Спасибо.

А на другом конце вскоре и песни завели. Потом Серега на балкон радиолу вытащил, и как рванула она на всю мощь, так младший лейтенант вмиг за часы ухватился, но в режим, горсоветом установленный для искусства, пока еще укладывались.

И тут Семен Митрофанович решил вдруг с Петровичем поговорить насчет жены и продавщицы из соседнего магазина: по-хорошему поговорить, по-дружески. Только встал, чтоб подойти, за плечо тронули. Оглянулся: Кукушкин. Уставил на него трезвый, но совсем неласковый взгляд. Хотел Семен Митрофанович пошутить насчет профилактики, но во взгляд этот уперся и вовремя сообразил, что шутить не стоит. Спросил только:

– Дома был?

– Разговаривал. – Кукушкин перекинул папиросу в другой угол рта, плюнул, не разжимая губ. – Что ты ей там напорол, лейтенант?

– Это ж насчет чего? – Семен Митрофанович нарочно прикинулся непонимающим.

– Вот и я хочу знать, насчет чего, – раздраженно сказал Кукушкин. – Ходит по квартире и поет, как... – Он не нашел сравнения и опять плюнул. – Спросил, чего распелась. А она улыбается.

– Значит, настроение у нее доброе.

– Доброе? – Кукушкин сверкнул вишневым глазом. – Что же ты ей наговорил, если она такая веселая вдруг стала?

– А тебе веселые не нравятся?

Семен Митрофанович нарочно необязательные слова бормотал. Специально бормотал, потому что все время думал, стоит говорить водопроводчику правду или не стоит? Думал и никак пока не мог этого понять...

– Не любишь, что ли, веселых-то?

– Я для веселья, лейтенант, в цирк хожу. Клоунов смотреть.

– Дело, Кукушкин. Это – дело.

– Я ведь все равно все узнаю. Только не хочу к верному способу прибегать. Пока.

И так он сказал это «пока», что Ковалеву опять стало боязно за Веру и мальчишку: нет, нельзя было правду ему говорить, зверю этому. Никак нельзя!

– Ничего я ей не говорил, Кукушкин. – Семен Митрофанович, вздохнув, опустил глаза: он вообще не терпел вранья, а при исполнении служебных обязанностей в особенности. Но от правды сегодня могли пострадать безвинные, и он врал во спасение. – Тебя ждал, ну и калякал о чем-то...

– В деревню приглашал?

Знает, значит... Еще раз вздохнул Ковалев:

– Приглашал.

Круглые злые вишни на миг уперлись в его лицо, на миг сверкнули и спрятались. Кукушкин медленно провел ладонью по лбу, словно припоминая что-то, достал папиросы, протянул, не глядя:

– Закури моих, лейтенант.

– К своим привык...

Единственный это был человек, которому отказал на проводах Семен Митрофанович. Резко отказал, как отрезал:

– К своим привык.

– Ну, дело твое, – тихо сказал Кукушкин, прикуривая от собственного окурка.

Он курил медленно, опустив голову, рассматривая огонек папиросы. А вокруг гомонили, смеялись, плясали и пели, и играла радиолка у Сереги на балконе. А Семен Митрофанович, отрезав Кукушкину все пути к дружескому общению, нисколько об этом не жалел.

– До чего же просто вы все решаете, – вдруг тихо, словно нехотя, сказал Кукушкин. – Пьет да бьет – значит, надо воспитывать. Значит, кого-то жалеть надо, спасать надо, уводить

надо. А на меня наплевать и растереть, да? Меня можно за стол не посадить, мне можно рюмки не поставить, а можно и в котельной избить без третьих глаз, как гвардеец тот говорит.

– Избить?

– Ладно, что было, то прошло: я не из жалостливых.

– А что же все-таки было?

– Знакомство, – криво усмехнулся водопроводчик. – Гвардейские сыны из меня непочтённые к их папаше выколачивали. Тяжелые у них кулачки...

– Так что же ты сразу?...

– Ладно, лейтенант, не пыли. Сказано: не из жалостливых я. Сам не жалею и сам не жалею. Только с одного боку вы все глядите.

Ковалев подумал, что о самоуправстве Кирилла Николаевича надо непременно рассказать Степешко. Рассказать и обдумать меры. Поэтому спросил рассеянно:

– А что за вторым боком, с которого не глядим?

– Я, – сказал Кукушкин.

И замолчал. И Семен Митрофанович молчал, удивленный этим очень простым ответом. И так молчали они долго.

– Ты, Кукушкин...

– Кукушкин!.. – раздраженно передразнил водопроводчик. – Меня Алешкой зовут, а кто про это знает? Даже Верка и та – Кукушкин да Кукушкин.

Потоптался младший лейтенант.

– Дай закурить, Куку... – и запнулся.

Кукушкин рассмеялся невесело, достал пачку.

– Ты извини, – тихо сказал Семен Митрофанович. – Привычка, знаешь...

Вон как разговор обернулся. Вроде и не жаловался Кукушкин, и овечью шкуру на свою волчью шерсть не напяливал, а – поди ж ты! – высек искру из самого Семена Митрофановича.

– Завтра поговорим, Алексей, – сказал младший лейтенант. – Трезвым будь: разговор серьезный намечается. А состоится он ровно в половине одиннадцатого вечера: я к вам перед отъездом зайду.

– Добро, – сказал Кукушкин, но добра в тоне его не было.

– И гляди у меня, парень...

– Трезвым я не бью, – тихо сказал Кукушкин. – Трезвым я прощения прошу. А прощения мне никто не дает, и потому трезвым я бываю редко... Ты забудь все это, лейтенант. Я Верку не трону, слово даю, но и ты все, что наговорил тебе сегодня, тоже забудь. Забудь, очень прошу!..

Повернулся, не дожидаясь ответа; пошел куда-то из освещенного круга. Не домой – в обратную сторону...

12

И Ковалев заторопился. Заторопился потому, что было уже одиннадцать, а он еще обещал сделать сегодня пистолет для Вовки Кукушкина. И музыку тоже пора было кончать, потому что вступало в силу постановление горсовета. Ну, с этим особо не спорили, и Серега быстренько уволок радиолу в дом, а вот отпускать Семена Митрофановича ни за что никто не хотел, и он еле-еле отбил. Обошел всех, со всеми за руку попрощался, поблагодарил от всего сердца. Пошел было, да вскоре его Серега нагнал:

– Я провожу вас, Семен Митрофанович. Можно?

– В наряд, значит, назначили тебя? – усмехнулся Ковалев. – В наряд по охране моей персоны?

– Да ну что вы, Семен Митрофанович... – Парень врал неумело, смущался. – Просто поговорить хотел...

– Поговорить? Ну, давай поговорим.

Они уже далеко отошли от домов: шум, который провожал их (это жильцы разбирали по квартирам свои стулья, скатерки, рюмочки), здесь, на пустынных, слабо освещенных улицах, почти не слышался. Поскольку парень все еще молчал, соображая насчет разговора, Семен Митрофанович спросил:

– Кукушкина опасаетесь, что ли?

– Он чокнутый, – сказал Серега. – Ему что в голову ударит, то он и сделает.

– Не боишься его?

– Нет. – Парень ответил очень просто, и младший лейтенант сразу поверил, что он действительно не боится никого.

– И долго же ты меня конвоировать собираешься?

– Да я не конвоировать! – Серега улыбнулся. – Человек, может, просто поговорить с вами хочет, пройтись, а вы – конвоировать да конвоировать...

Семен Митрофанович усмехнулся и сказал в точности как за пятьдесят шагов до этого:

– Поговорить? Ну, давай поговорим.

– Значит, на пенсию уходите, Семен Митрофанович? – Парень явно не знал, о чем ему говорить, но честно старался подладиться под грузно шагавшего рядом младшего лейтенанта. – Работать где устроитесь или так, на законном отдыхе?

Семен Митрофанович усмехнулся:

– Рано тебе, Серега, пенсией-то интересоваться. Ты мне лучше про ту девчонку расскажи, которую Толик у тебя отбил.

– Отбил?... Нет, этого не было.

– Ты извини, конечно, что я так, понимаешь, прямо. Но я не из любопытства: мне знать про нее все нужно.

– Нет, «отбил» тут не подходит, – вздохнул Сергей. – Тут посложнее, Семен Митрофанович... – Он помолчал, почмокал сигаретой. – Черт, сигареты сырые... Мать у нее закладывает здорово, ну, пьет, значит: видать, отец из-за этого их и бросил, хотя Алка – ее Алкой зовут, – (Семен Митрофанович кивнул), – и в глаза его никогда не видала. Ну, сначала она у тетки жила: там все нормально было, там она десятилетку хорошо закончила и даже в институт поступила.

– В институт?

– Ну да. В этот... иностранных языков на немецкое отделение: она там с Толиком-то и познакомилась. А проучилась всего два месяца, и тетка ее умерла. А Алка у матери прописана была, и пришлось ей к пьянчуге этой возвращаться. Ну, тут уж не до учебы, сами понимаете: мать каждый день пьяная, каждый день водит кого-то, каждый день у нее шум, гам, скандалы, а то и драки когда. Алке бы из дома уйти, а она не смогла, тогда и институт бросила. Год с

мамочкой этой прожила: и поили ее там, и шоколадом кормили, и одевали, и продавали – все, наверно, было в год-то этот. Она, Семен Митрофанович, рассказывать об этом не любила, она вообще скрытная очень: это я все по кусочкам из нее вытянул, по намекам разным.

– А с уголовниками мать не связана, не знаешь?

– Все может быть при жизни такой, – вздохнул Серега. – Там и пьяницы были, и спекулянты – про это Алка сама рассказывала. Ну а где такая компания, там и блатные, возможно, появлялись, не без того. Только это все прошло уже, Семен Митрофанович, это все теперь – древняя история, потому что через год жизни такой сбежала Алка. Летом где-то в Сочах прокантовалась...

– С кем?

– Говорит, с братом каким-то, – нехотя сказал Сергей: ему было неприятно вспоминать об этом. – Да это и неважно. Важно, что через год она к нам на производство пришла, потому что у нас общежитие и городским дают. Ну, поработала сперва ученицей, потом...

– погоди, погоди, – остановил Семен Митрофанович. – А тот, что на Кавказ ее возил, брат-то этот, тот больше не появлялся?

– Не знаю, – с явной неохотой сказал Серега. – В то время мы с ней гуляли, и никого вроде у нее не было.

– А с матерью она связь поддерживала?

– Бывала. И я два раза был: один раз до того уклюкался, что на бровях домой уполз, ей-богу!

– Мамаша напоила!

– Нет, там у мамаша постоялец какой-то жил. Толстый такой...

– Ну а девчонка что, воробьяха-то?

– Какая воробьяха?

– Ну, эта... Алка твоя.

– А-а... А почему воробьяха?

– Ну, оговорился, про другую вспомнил. Вы что с ней-то, поссорились, что ли?

– Да как сказать... – Серега снова прикурил, почмокал и снова с отвращением швырнул сигарету. – Сырая, черт!.. Смесь у нее в голове странная, у Алки-то, Семен Митрофанович. По характеру-то она девчонка добрая: зла не помнит, денег не жалеет, не бережет их, как некоторые, и уж очень подарки делать любит. Пустяк, мелочь всякую – галстук там, запонку или еще ерунду какую, а подарит. Просто так, чтоб порадоваться только. Про некоторых, знаете, говорят: рубашку, мол, с себя последнюю снимет – так она такая, честное слово, такая. Она все отдаст и глазом не моргнет. И безалаберная какая-то в то же время: о завтрашнем дне не думает, получку в два дня спустит, а потом мороженое ест. Раз цветов на десятку купила. Я говорю: куда тебе охапка-то целая? А она: хочется, говорит, и все... Это характер у нее такой, а мамаша, да и тетка наверно, тоже воспитание к ней приложили. Всю жизнь ей одно жужжали: деньги, деньги, деньги. Мол, деньги – это сила, это счастье, это самое главное, и пока ты молода, пока в цвету – добывай. И вот все она только на деньги и мерила: «Волга», конечно, лучше, чем «запорожец», это понятно, но она и людей так же делила – по мощности. Профессор лучше, чем студент; инженер лучше, чем шофер; а артист какой-нибудь знаменитый, тот вообще лучше всех на свете, потому что у него рубли с колесо размером. Вот какая у нее психология сложилась, Семен Митрофанович, понимаете?

– Понимаю, – вздохнул Семен Митрофанович. – Дурная это, брат, психология.

– Вот и я ей то же самое говорил, и из-за этого мы с ней постоянно ругались. День мирно разговариваем, а к вечеру обязательно переругаемся: ее почему-то все больше вечером насчет шикарной жизни схватывало. Ну а тут Толик и объявился, и она отчалила. Хочу, говорит, пожить в свое удовольствие, пока молода. – Он помолчал. – А все-таки я уверен, что с Толиком у нее ничего не было.

– Уверен?... – рассеянно переспросил Семен Митрофанович, думая о своем. – Это хорошо, что уверен ты...

– Я как-то вечером с тренировки ехал...

– С какой тренировки?

– Боксом занимаюсь, – улыбнулся Серега. – Думаете, почему Кукушкин меня не трогает? Да потому, что у меня разряд.

– Это хорошо, – рассеянно поддакнул Ковалев. – Спорт – это полезно...

– Да...

Они помолчали, потому что Семен Митрофанович вдруг перебил Серегину мысль, и Серега отвлекся. Но младший лейтенант опять направил интересующий его разговор:

– Ну, ехал ты, значит...

– Да, с тренировки ехал автобусом номер восемь. Вечером дело было, народу мало. Гляжу: Алка с каким-то типом у выхода стоит. Я – к ней: здорово, говорю, Алка, что-то давно не видались. А мы с ней в разных цехах-то работаем. Да... Сказал, значит, а этот тип – молодой мужик, а уже рыхлый, с лысинкой и перстень с печаткой на пальце, – тип, значит, этот на меня вдруг: «А ну, отлипни, пижон!» Ну, меня, понятное дело, на горло не возьмешь, я таких сырых на первом раунде уложу. А Алка испугалась вдруг чего-то, сильно испугалась, побелела: «Валера...» – говорит...

– Валера?

– Валера... Точно, Валера, – подтвердил Серега. – Только он к Толику никакого отношения не имеет.

– А к Алке?

– К Алке?... – Серега помолчал, вздохнул. – Знаете, я до сих пор взгляд ее помню: за него она испугалась. А чего испугалась-то, знает ведь, что я первым никого не трогаю...

Он умолк, вздохнул, помотал головой. Некоторое время они шли молча, потому что Семен Митрофанович повторял про себя рассказ Серегу и старался поточнее его запомнить, чтобы пересказать завтра Данилычу. Здесь покопать надо было, и следователь Хорольский не так уж был сегодня не прав. Есть у него чутье, у Хорольского этого, ничего не скажешь, но методы... Комиссар Белоконь сказал однажды на собрании актива, что справедливее упустить десять виновных, чем задержать одного безвинного, и младший лейтенант Ковалев всем сердцем воспринял это.

– И чего она тогда испугалась за пижона этого? – размышлял Серега. – А ведь испугалась, я точно помню...

– Может, не тебя она испугалась, а милиции?

– Какой милиции?

– Ну, если бы скандал начался, драка, допустим, то могли же милицию позвать? Могли. Могли, Серега, могли, вот Алка за него и испугалась. А что это все значит? Это значит, – Семен Митрофанович еще раз подумал, вздохнул, – значит это, что Валера этот недопеченный...

– Сырой, – поправил Серега.

– Ну, сырой, – согласился Ковалев. – Значит, сырой этот Валера нашего брата почему-то опасается.

– Опасается?

– Только ты, Сергей, о нашем разговоре пока помолчи. Я к тебе старшего лейтенанта Степешко пришлю, как только он из госпиталя выпишется. Ему все доложишь в точности. Как мне.

– Понятно.

– Ну а сейчас ступай. Спасибо тебе за провожание и особо – за разговор.

Семен Митрофанович пожал парню руку и свернул в переулок. Не к себе: он в противоположной стороне жил. К знакомому столяру, у которого всегда делал пистолеты для своих сорванцов.

Однако дома столяра не оказалось. Дверь открыла жена – яростная костистая старуха, с которой у Семена Митрофановича дружба так и не сложилась за все четверть века знакомства. Стрельнула сухими глазищами.

– Семен Митрофанович, ты? В половине двенадцатого людей беспокоишь...

– Что, опять молиться помешал? – пошутил Ковалев.

Не приняла она шутки. Рассердилась даже:

– Ты моего Бога не трогай. Я твоего не трогаю, и ты моего не касайся.

– Да молись ты хоть двадцать пять часов в сутки, Катерина Прокофьевна, слова не скажу.

Я к супругу твоему, к Леонтию Саввичу.

– В преисподней ищи. В бездне самой...

И дверь захлопнула, не попрощавшись: одно слово – сектантка...

Семен Митрофанович спустился в преисподнюю, в подвал то есть. Там у Леонтия столярная мастерская была оборудована: он при домоуправлении столяром состоял, ну и заказы принимал на разные поделки. Когда-то, еще до войны, руки его славились на весь город, а в войну, хоть и пощадила она руки эти, что-то надломилось в нем, и никаких тонких заказов бывший краснодеревщик уже не брал. А тут еще – одна за одной – обе дочери его померли. Вот тогда-то жена его в Бога ударились, а он попить стал. Ну а с пьяных рук что за работа? И дела Леонтия Саввича пошли совсем набекрень.

– Пропил ты свой талант, Леонтий, – вздохнул Семен Митрофанович, когда достучался-таки до спящего на верстаке в подвале столяра. – А талант в тебе природой был заложен, и ты беречь его должен был, как совесть к старости.

– Талант! – презрительно фыркнул Леонтий Саввич. Он сидел на верстаке в шерстяных носках, так как в подвале было сыровато. – А что же это такое – талант? Ты знаешь?

– Знаю, – сказал Ковалев. – Вот у тебя в руках талант был: ты умел такое с деревом сотворить, что дерево то в темноте светилось. А у иного талант – в голове: он, брат, законы всякие открывает или изобретает полезные машины. А бывает талант и в ногах: скажем, наш знаменитый футболист Игорь Нетто.

Худой, заросший, всклокоченный со сна столяр сидел перед ним на верстаке и качал головой.

– В руках, в ногах, где еще? – сердито спросил он. – Глупый ты, Семен, ровно дитя. Разве талант в руках или там в ногах живет? Там секреты живут, понял? Секреты того дела, которому человек обучен. Скажем, у рабочего секреты – в руках, у инженера – в голове, у танцора, к примеру, – в ногах. А талант, Сеня, он в сердце живет.

– Ох, чего-то ты плетешь, Леня! – вздохнул младший лейтенант. – Мистика это называется – насчет сердца-то, и наука это отрицает. Наука прямо говорит, что сердце есть такой мускул, который кровь по всему организму гоняет. Вроде насоса.

– Насос! – закричал столяр. – Там любовь у человека, там горе, там ненависть, все человеческое там, а ты – насос!.. Глупый ты парень, Семен, раз такую окоlesiцу городишь. Скажи, когда у тебя несчастье, что у тебя болит – голова? Сердце у тебя болит, сердце! А радость если какая, если, скажем, День Победы, что тогда в тебе ликует? Может, живот твой жратве радуется? Нет, сердце твое поет, Семен, сердце!

– Ладно, не будем спорить. Время позднее, а мне надо пистолет для парнишки сделать: обещал...

Столяр отыскал подходящую доску, и Семен Митрофанович, сняв тужурку и галстук, с радостью ухватился за инструмент. Пилил, вырубал, и Леонтий Саввич молча смотрел на него.

– Вот у тебя талант как раз там, где надо, – вдруг сказал он. – В сердце у тебя талант, Сеня.

– Опять ты, Леня, за свое...

– Поздно одну штуку понял, – вздохнул столяр. – А штука эта простая: для чего человек на свете живет? Чтоб есть, пить да с женой спать?

– Всякий человек живет для своего дела.

– Для дела? Нет, Сеня, дело – это само собой. Дело и лошадь может сделать или, скажем, машина. А человек – он для чего тогда?

– Ну и для чего же? – Семен Митрофанович был увлечен работой и слушал вполуха.

– Для добра, – убежденно сказал Леонтий Саввич. – Обязательно каждый человек должен хоть в одной душе добро посеять. Хоть в одной-единственной, и если Бог все-таки есть, то это ему зачтется. Это, а не машины какие, не табуретки там и не космосы.

– Вот ты уж и до Бога договорился.

– Это, Сеня, супруга моя с ним договорилась, а не я. Я с нею, с супругой то есть, сражаюсь ежедневно по этому вопросу, но, боюсь я, ничьей дело закончится. А мы с тобой, Сеня, фронт прошли и очень даже точно знаем, что Бога нет. Но ведь кто-то должен же добро творимое на весах взвешивать, а?

– А зачем его взвешивать? Для отчетности, что ли?

– Для очищения совести, Сеня.

– Ну, совесть сама все взвесит. Точно взвесит, как в аптеке.

– Это у тебя, потому что у тебя талант есть. А у простых людей, которые добро, может, раз в жизни-то делают? Совесть у них грубая, нетренированная совесть-то, и ничего взвесить не может. И это мне обидно, потому что хочу я перед смертью точно знать, сколько я добра высеял и сколько зла расплодил. И поглядеть, какая чашка переважит.

– А ты не считай добро-то, Леня, не регистрируй его, так-то оно честнее выйдет. И помрешь ты тогда спокойно, и совесть тебя не потревожит ни разу.

К этому времени Семен Митрофанович уже отделал пистолет и теперь, расстегнув кобуру, вытаскивал из нее тряпки. Вытащив все, сунул в нее пистолет, и пистолет пришелся к кобуре тик-в-тик.

– Точная какая работа! – с удовольствием сказал Семен Митрофанович, застегивая клапан кобуры с деревянным пистолетом. – Утречком я его черной эмалью покрашу, а к вечеру он высохнет, и отнесу я его Вовке.

– Значит, не регистрировать? – спросил Леонтий Саввич. – Трудная задача, Сеня. Человек слаб, и ему свою собственную душеньку очень даже хочется по шерстке погладить. Очень даже...

Семен Митрофанович неторопливо убрал на место инструмент, подмел в мастерской. Потом посмотрел на Леонтия Саввича, как на больного, и вздохнул:

– А ты ведь о себе думаешь, добро делаешь. А если о себе, так какое же это добро? Это уже и не добро, это так, для утехи совести. Вот поэтому-то она, совесть-то твоя, и терзает тебя, что не от души ты добр, а от ума. А по мне так добро от ума хуже зла от души. Хуже, ей-богу, хуже! Подлее: вот как вопрос обстоит.

Столяр сидел на верстаке, угрюмо нахохлившись. Ковалев надел тужурку, повязал галстук, похлопал по кобуре, улыбнулся:

– Вроде опять я с оружием!..

– Обидел ты меня, Семен, – тихо сказал Леонтий Саввич. – Зачем же обижать-то на прощание?

– Я тебе правду сказал. А что обидела тебя правда, то не моя вина, а твоя беда. Перестань ты о себе-то думать, Леонтий Саввич, перестань! Ты о других страдай, о других думай, вот и переважит в тебе заветная чашечка...

– Обрато «равняйсь» командуешь? – криво усмехнулся Леонтий Саввич. – Все кругом только и делают, что «равняйсь» кричат. И по телевизору, и по радио, и по газетам...

– Равняйся? – переспросил Семен Митрофанович. – Именно что равняйся. Именно что так, Леонтий Саввич, и кричать мы вам эту команду будем, покуда вы смысла ее не поймете.

– Кто это такие – мы?

– Мы, коммунисты, значит. Равняйся – это что такое? Равняйся – это значит грудь четвертого человека видеть. Не свою, персональную, не соседа даже, а четвертого! Как бьется она, вольно ли дышит, не мешает ли ей что... А ты скольких видишь, Леонтий? Себя ты одного видишь, на пуп свой собственный всю жизнь глядишь и примериваешься, как бы под старость с совестью торговаться. А добром не торгуют, Леонтий Саввич, это не редиска.

Неспокойным он из того подвала вышел, очень беспокойным. Вышел в темный, глухой переулок, закурил (в столярной не покуришь, понятное дело), прошел к автобусной остановке. По ночному времени транспорт вообще ходил из рук вон плохо, но Семен Митрофанович пешком до дому своего идти не захотел, потому что сильно притомился за день. Здорово набегался в этот свой самый последний денек.

13

Он стоял на остановке автобуса, курил и думал, и думы его были не сердитыми, а горькими. Он не злился на Леонтия Саввича, а искренне расстраивался, что вырос в его душе этакий ядовитый грибок и что вырвать его столяр, видать, не сможет до самой смерти своей. И это огорчало младшего лейтенанта Ковалева, потому что он видел за спиной Леонтия Саввича бесконечную вереницу последователей.

Семен Митрофанович был свято убежден, что добром торговать нельзя, что это едва ли не самое подлое, что может сотворить душа человеческая, и при этом отчетливо понимал, что добром этим торгуют направо и налево. Что продают его за почет и звания, за карьеру и удобства, за спокойную совесть и безмятежную славу. Продают тем, что творят это добро не для того, кто нуждается в нем, а для себя, и потому творят гласно, трубно и многолюдно. Творят, заранее прикидывая, какой отзвук вызовет оно в верхах и в низах и какие блага получит за это дарующий.

И еще Семен Митрофанович думал о том, что люди могут и должны быть счастливыми. Они станут счастливыми тогда, когда поймут, что добро не товар и что торговать им так же невозможно и противоестественно, как спекулировать лекарством. И убежден был, что это полностью будет достигнуто при коммунизме.

Показался автобус, и еще издали Ковалев заметил, что народу в автобусе том было достаточно, и вспомнил, что сейчас аккурат конец второй смены. Автобус шел по восьмому маршруту, и Семену Митрофановичу был не по пути: до дому пришлось бы через парк идти, а это крюк немалый. Поэтому младший лейтенант отступил, чтобы не мешать людям, а потом, когда машина уже трогалась, вспрыгнул на заднюю подножку и прошел в салон.

Он не знал, почему так сделал. То есть знал, конечно, но не успел обдумать: просто глянул рассеянно на автобус и за стеклом в освещенном салоне увидел вдруг худенькую девчущку с сережками-слезками в маленьких ушах. Он даже не понял, воробыха это его или нет, а вспомнил только, что Серега говорил про встречу в восьмом автобусе, и тут же вскочил на подножку.

Он в заднюю дверь вскочил – он всегда только через нее в городской транспорт входил, – а воробыха (если это, конечно, была она, в чем Семен Митрофанович совсем не был уверен), воробыха впереди стояла, у выхода, и Ковалев начал осторожно протискиваться вперед. Рейс действительно был рабочим, народу скопилось много, и все молчали, как это всегда бывает в автобусах, которые развозят людей, отработавших смену.

Сзади еще кто-то прорывался, давил младшего лейтенанта в спину, наступал на пятки, дважды почему-то в поясницу его толкнул и вроде ощупал кобуру под тужуркой. Ковалев хотел было обернуться, но тут на повороте автобус накренился, и тот, что тискался позади Семена Митрофановича, поспешно уцепился за поручень сиденья. Младший лейтенант тоже качнулся, тоже уцепился за поручень и увидел сырую руку: в толстый безымянный палец намертво впаялся перстень с печаткой. Семен Митрофанович вскинул глаза: за спиной стоял рослый, рано располневший мужчина лет тридцати. Черные брови его срослись на переносице, тонкие губы сжаты плотно, будто струбчинкой стянуты: щель одна. Глаза... Вот глаз Ковалев не разглядел. Бегали эти глаза из стороны в сторону, не давались.

– Валера?...

Семен Митрофанович спросил тихо: не для посторонних. И по тому, как дрогнули брови, понял, что не ошибся. Понял, что в точку попал, хотя услышал в ответ другое:

– Вы ко мне, товарищ младший лейтенант? Ошибаетесь тогда...

– Так вот ты какой, Валера, – тихо повторил Ковалев, не спуская глаз с его лица. – Это что, Алка впереди?

– Какой Валера? Какая Алка?... Путаете вы что-то, товарищ младший лейтенант.

– Путаю?

– Вы проходите? Или?...

Автобус тормозил. Семен Митрофанович прошел вперед – теперь между ним и той, со знакомыми сережками-слезками, еще двое было, не протолкнешься, а она не оглядывалась.

– Выходи...

Ясно сказали, отчетливо, как приказ. Сережки сверкнули на миг, повернулись, и младший лейтенант Ковалев в упор увидел свою утреннюю подопечную, воробыху свою.

– Выходи...

Кто это говорил?... Семен Митрофанович быстро обернулся, но тот, с перстнем, в окно смотрел, отвернувшись. А воробыха – или Алка, он и этого-то в точности не знал, – воробыха все еще в глаза ему глядела, и Ковалев вдруг понял, что глядит она на него с ужасом, и головой качает, и вроде шепчет беззвучно:

– Нет, нет...

Автобус вздохнул, двери разъехались. Девчонка эта еще раз отчаянно глянула на Семена Митрофановича и прыгнула прямо в темноту. В какое-то мгновение хотел он за нею шагнуть, но оглянулся: рыхлый по-прежнему равнодушно смотрел в окно, и оставлять его Ковалеву не хотелось. Тем более им пока было явно по пути.

– Выходите? – спросил Семен Митрофанович на всякий случай.

– Пока нет.

Автобус немного опустел: он теперь на каждой остановке терял людей, исчезающих в темноте, а новых пассажиров не было. Места свободные появились, и рыхлый этот – все-таки Валера он или не Валера? – сел на сиденье, а Семен Митрофанович на всякий случай продолжал стоять, чтобы опять нос к носу столкнуться, если этот, с перстнем, вздумает вдруг выходить.

И еще одна остановочка подкатила, предпоследняя. Автобус почти опустел: сзади двое каких-то парней сидело, впереди несколько пассажиров да на отдельном сиденье – этот, с перстеньком. Выходить он, видно, не собирался, ехал до конца, и поэтому Семен Митрофанович подсел к нему.

– Не возражаете?

Рыхлый молча подвинулся.

– По пути, значит, нам, Валера?

– Ошибаетесь, товарищ младший лейтенант. – Теперь он и говорил спокойно, и улыбался спокойно, и смотрел на Семена Митрофановича тоже спокойно. – Игорем меня зовут. Игорь Васильевич Колесников: паспорт могу показать.

– Покажите.

Чуть дрогнули брови. И голос сразу высох.

– Дома. С собой не вожу.

– Тогда придется пройти.

– Куда же?

– В отделение.

Промолчал рыхлый. Усмехнулся криво и промолчал. Почему?

– И без шума, – негромко добавил Ковалев. – Я официально прошу вас пройти со мной в отделение.

– Пожалуйста, пожалуйста! Разве я возражаю?

Вежливо вполне, даже с перебором. И спокойно. Вот это спокойствие, по правде сказать, сильно смущало Семена Митрофановича. И поэтому он добавил:

– После установления личности вас доставят домой на машине. Не беспокойтесь.

– Я не беспокоюсь. Пожалуйста.

И снова улыбнулся. И даже не поинтересовался, на каком основании его в милицию доставляют и зачем, собственно. Либо действительно младший лейтенант неприятную ошибку допускал в самый последний день службы своей, либо этот рыхлый по дороге попросту удрать рассчитывал от старого милиционера. Тем более что дорога через парк пролежала, тот самый парк, где сутки назад кто-то и за что-то бил воробыху. И она тогда крикнула: «Валера, беги!..» Кого же она выручала? Неужели вот этого, рыхлого, начинающего лысеть самодовольного пижона с перстнем на толстом пальце?...

Захрипел репродуктор в салоне:

– Конечная...

Автобус развернулся, со вздохом распахнул обе двери. Семен Митрофанович сошел первым, подождал рыхлого. Вслед за ними вышли последние пассажиры и те два парня, что сидели сзади. Пассажиры быстро свернули в улицы, а Ковалев и тот, что назвался Игорем Васильевичем Колесниковым, пошли в парк: темный, без единого фонаря, шумящий уже по-ночному – загадочно и тревожно. У входа висели последние лампочки, и, пройдя их, Семен Митрофанович оглянулся: парни, что ехали на заднем сиденье, шли следом за ними.

«Вот это хорошо, – подумал Семен Митрофанович. – Видать, заводские ребята, свои: в случае чего помогут...»

Но помогать пока не требовалось: рыхлый шел спокойно, по сторонам не глазел и убежать не собирался. Когда углубились в лес, в прохладную темень тропинок, спросил благожелательно:

– Что это вы припозднились сегодня, товарищ младший лейтенант? С дежурства, что ли?

– С дежурства, – сказал Семен Митрофанович, решив, что так лучше: пусть этот Игорь, или как его там, думает, что он при оружии. И добавил для убедительности: – Отрапортую, сдам оружие, а там, глядишь, и с вами разберутся. Вы где проживаете-то?

Блеснули в темноте зубы.

– Представьте себе, нигде. Ночую пока в семиэтажках: там у одного доброго человека старики на даче околачиваются. Впрочем, вы же все знаете: мы с вами сегодня чуть-чуть разминувшись, буквально на минуточку.

– У Анатолия?

– Совершенно точно! – рассмеялся рыхлый.

Самоуверенно рассмеялся, почти с торжеством. Почему вдруг? Какая причина? Может, на темноту надеялся, на собственную силу, на парк этот пустынный, где и днем-то от милиции удрать – раз плюнуть? Семен Митрофанович осторожно оглянулся: две фигуры смутно виднелись позади, и он опять успокоился.

– Откуда же вы Анатолия знаете?

Опять рассмеялся спутник его. И не ответил.

– Чего это вы развеселились вдруг?

– Смешно, товарищ младший лейтенант. Подумал я: сколько еще у нас неиспользованных возможностей, чтобы вас за нос водить, и мне сразу стало смешно.

– У кого это – у вас?

– Я умных людей имею в виду, товарищ младший лейтенант.

– Это ж каких таких – умных?

Семен Митрофанович подобрался весь, нехорошее что-то почуяв. Ой, не зря рыхлый этот разоткровенничался, не зря!.. Только что же он, чудак, пареньков тех не видит, что ли? И Ковалев на всякий случай шаг сбавил, чтобы парни те подтянулись поближе.

– Сутки назад как раз в этих кустах пришлось проучить одну глупую девчонку, – сказал вдруг его спутник. – И знаете, за что? За то, что она отказывалась участвовать в операции «Пистолет», которую разработал один умный человек. А сегодня эта операция разыгрывается как по нотам... – Он остановился. – Не хотите ли закурить? Я патриот, курю только советские...

– Идем, гражданин, идем, – сказал Семен Митрофанович, невольно отступив на шаг, чтобы быть поближе к тем парням, что шли за его спиной. – В милиции доскажешь...

– Пришли уже, – сказал рыхлый и чиркнул спичкой. – Пришли, лейтенант...

Удар обрушился на Семена Митрофановича сзади. Он не почувствовал его, а услышал и с какой-то странной горечью успел подумать о тех парнях, что напрасно они ударили его, ах напрасно: он ведь еще не на пенсии, он еще на службе, и им за это... Но он успел только пожалеть их, а что им будет за это, додумать так и не успел. И еще он успел почувствовать чужие, грубые руки, которые почему-то лихорадочно рвали из его кобуры игрушечный пистолет...

14

Комиссар Белоконь приходил на работу в восемь сорок пять. А ровно в девять часов Вера Николаевна пригласила к нему первых посетителей.

В тот день посетитель был приятный: начальник АХО доложил, что для городской милиции пришло первых пятьдесят комплектов обмундирования нового образца, и принес список наиболее достойных кандидатов. Сергей Петрович, нацепив очки, придирчиво изучал этот список, отмечая французской ручкой фамилии тех, кто, вне всякого сомнения, должен был одним из первых получить новую шинель загадочного цвета маренго.

– А капитану Голованову не дадим, – улыбаясь, говорил он. – Капитан Голованов в театр не ходит: зачем ему шинель цвета маренго?

Полковник Орлов вошел в кабинет без стука. Вошел, остановился, точно собираясь с духом, а за ним молча шли начальники отделов. И стало вдруг очень тихо, и в этой тишине отчетливо было слышно, как всхлипывает в приемной Вера Николаевна.

– Час назад в парке нашли Митрофаньча, – тихо сказал Орлов.

– Что?

– Убит.

Кажется, комиссар крикнул. Крикнул, с маху хватил обоими кулаками по полированной столешнице, и шариковые ручки посыпались на пол. Слезы текли по морщинистым, старательно выбритым щекам, и комиссар не замечал их. Он сидел выпрямившись, бросив на стол огромные рабочие кулачищи, строго глядя перед собой. Начальники отделов молча смотрели на него, и только бледный полковник Орлов повторял:

– Найду, товарищ комиссар. Под землей найду. Лично найду.

Белоконь рукою вытер лицо, недоуменно посмотрел на мокрую ладонь, сказал тихо:

– Ищи.

И Орлов тотчас же вышел. А начальник АХО робко потянул из-под комиссарского локтя список претендентов на новые шинели.

– Что? – спросил Белоконь.

– Ничего, ничего, – поспешно сказал начальник АХО. – Это список, это не обязательно. Это потом...

– Список?... Подождите.

Комиссар тяжело нагнулся, поднял с пола знаменитую парижскую ручку и вписал ею в список младшего лейтенанта милиции Ковалева Семена Митрофановича.

А народ со всего управления все шел и шел и, стесняясь комиссара, оседал в приемной. Вера Николаевна плакала в углу и каждому, кто входил, говорила:

– Курите. Курите, пожалуйста...

И почему-то все закуривали, даже некурящие. И впервые за много лет густые облака табачного дыма плавали в этой комнате.

– Может, с целью ограбления? – тихо спрашивал кто-то. – Может, просто грабеж?

– Да какой там грабеж! – вздохнул рослый оперативник. – В порядке его кошелек, в кармане лежит. Там все его богатство: семьдесят восемь копеек. Пистолетик деревянный рядом валяется: видно, детям игрушку сделал. И еще – тряпочка какая-то...

В приемную вошел Хорольский. Он был как-то странно оживлен, и поэтому все отвернулись.

– Где полковник Орлов? – спросил он в дверях.

– Работает, – сухо сказал оперативник. – Просил не беспокоить.

Не удержался Хорольский. Даже в это утро не удержался: улыбнулся торжествующе.

– Ну, меня-то он примет, – сказал. – Там ко мне девчонка пришла. Вчерашняя девчонка. С показаниями. Вот адреса.

И положил на стол бумажку...

Не стреляйте белых лебедей

*Другу, с чьей помощью родилась эта книга,
Нине Андреевне Красичковой посвящаю*

От автора

Когда я захожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап. И я ищу Егора.

Я нахожу его в июньском краснолесье – неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в осенней мокряди – серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине – задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении – терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он был разным – разным для людей и разным для себя.

И разной была его жизнь – жизнь для себя и жизнь для людей.

А может быть, все жизни разные? Разные для себя и разные для людей? Только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или являясь разными, всегда ли мы едины в своем существовании?

Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным – ни лучше, ни хуже. И поступал не по соображениям ума, не с прищелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть.

1

Егора Полушкина в поселке звали бедоносцем. Когда утерялись первые две буквы, этого уже никто не помнил, и даже собственная жена, обалдев от хронического невезения, испуганно кричала вѣдливѣм, как комариный звон, голосом:

– Нелюдь заморская заклятье мое сиротское Господи спаси и помилуй бедоносец чертов!..

Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха, и знаков препинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десятилетний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за сараюшкой. И еще потому он плакал, что уже тогда понимал, как мать права.

А Егор от криков и ругани всегда чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а только казнил.

– У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!..

Харитина Полушкина была родом из Заонежья и с ругани легко переходила на причитания. Она считала себя обиженной со дня рождения, получив от пьяного попа совершенно уже невозможное имя, которое ласковые соседки сократили до первых двух слогов:

– Харя-то наша опять кормильца своего критикует.

А еще то ей было обидно, что родная сестра (ну кадушка кадушкой, ей-богу!), так родная сестра Марья белорыбицей по поселку плавала, губы поджимала и глаза закатывала:

– Не повезло Тине с мужиком. Ах, не повезло, ах!..

Это при ней – Тина и губки гузкой. А без нее – Харя и рот до ушей. А ведь сама же в поселок их сманила. Дом заставила продать, сюда перебраться, от людей насмешки терпеть:

– Тут, Тина, культура. Кино показывают.

Кино показывали, но Харитина в клуб не ходила. Хозяйство хворобное, муж в дурачках, и надеть почти что нечего. В одном платьишке каждый день на людях маячить – примелькаешься. А у Марьицы (она, стало быть, Харя, а сестрица – Марьица, вот так-то!), так у Марьицы платьев шерстяных – пять штук, костюмов суконных – два да костюмов джерсовых – три целых. Есть в чем на культуру поглядеть, есть в чем себя показать, есть что в ларь положить.

А причина у Харитины одна: Егор Савельич, муж дорогой. Супруг законный, хоть и невенчаный. Отец сыночка единственного. Кормилец и добытчик, козел его забодай.

Между прочим, друг-приятель приличного человека Федора Ипатовича Бурьянова, Марьиного мужа. Через два проулка – дом собственный, пятистенный. Из клейменных бревен: одно в одно, без сучка без задоринки. Крыша цинковая: блестит – что новое ведро. Во дворе – два кабанчика, овец шесть штук да корова Зорька. Удоистая корова – в дому круглый год Масленица. Да еще петух на коньке крыши, как живой. К нему всех командированных водили:

– Чудо местного народного умельца. Одним топором, представьте себе. Одним топором сработано, как в старину!

Ну, правда, чудо это к Федору Ипатовичу отношения не имело: только размещалось на его доме. А сделал петуха Егор Полушкин. На забавы у него времени хватало, а вот как бы для дельного чего...

Вздыхала Харитина. Ох, недоглядела за ней матушка-покойница, ох, не уходил ее вожжами отец-батюшка! Тогда б, глядишь, не за Егора бы выскочила, а за Федора. Царицей бы жила.

Федор Бурьянов сюда за рублем приехал тогда еще, когда здесь леса шумели – краю не видать. В ту пору нужда была, и валили этот лес со вкусом, с грохотом, с прогрессивкой.

Поселок построили, электричество провели, водопровод наладили. А как ветку от железной дороги дотянули, так и лес кругом кончился. Бытие, так сказать, на данном этапе обогнало

чье-то сознание, породив комфортабельный, но никому уже не нужный поселок среди чахлах остатков некогда звонкого краснолесья. Последний массив вокруг Черного озера областные организации и власти с превеликим трудом сумели объявить водоохранным, и работа заглохла. А поскольку перевалочная база с лесопилкой, построенной по последнему слову техники, при поселке уже существовала, то лес сюда стали теперь возить специально. Возили, сгружали, пилили и снова грузили, и вчерашние лесорубы заделались грузчиками, такелажниками и рабочими при лесопилке.

А вот Федор Ипатович за год вперед все в точности Марьице предсказал:

– Хана прогрессивкам, Марья: валить вскорости нечего будет. Надо бы подыскать чего поспособнее, пока еще пилы в ушах журчат.

И подыскал: лесником в последнем охранном массиве при Черном озере. Покосы бесплатно, рыбы навалом, и дрова задарма. Вот тогда-то он себе пятистенки и отгрохал, и добра понапас, и хозяйство развел, и хозяйку одел – любо-дорого. Одно слово: голова. Хозяин.

И держал себя в соответствии: не елозил, не шебаршился. И рублю, и слову цену знал: уж ежели ронял их, то со значением. С иным за вечер и рта не раскроет, а иного и поучит уму-разуму:

– Нет, не обротал ты жизнь, Егор: она тебя обротала. А почему такое положение? Вникни.

Егор слушал покорно, вздыхал: ай, скверно он живет, ай, плохо. Семью до крайности довел, себя уронил, перед соседями стыдоба – все верно. Федор Ипатович говорит все правильно. И перед женой совестно, и перед сыном, и перед людьми добрыми. Нет, надо кончать ее, эту жизнь. Надо другую начинать: может, за нее, за будущую светлую да разумную, Федор Ипатович еще рюмочку нальет, сдобрится?...

– Да, жизнь обротать – хозяином стать: так-то старики баивали.

– Правда твоя, Федор Ипатыч. Ой, правда!

– Топор ты в руках держать умеешь, не спорю. Но – бессмысленно.

– Да уж. Это точно.

– Руководить тобою надо, Егор.

– Надо, Федор Ипатыч. Ой, надо!..

Вздыхал Егор, сокрушался. И хозяин вздыхал, задумывался. И все тогда вздыхали. Не сочувствуя – осуждая. И Егор под их взглядами еще ниже голову опускал. Стыдился.

А вникнуть если, то стыдиться-то было нечего. И работал Егор всегда на совесть, и жил смиренно, без баловства, а получалось, что кругом был виноват. И он не спорил с этим, а только горевал сильно, себя ругая на чем свет стоит.

С гнезда насиженного, где жили в родном колхозе если не в достатке, так в уважении, с гнезда этого в одночасье вспорхнули. Будто птицы несмышленные или бобыли какие, у которых ни кола ни двора, ни детей, ни хозяйства. Затмение нашло.

Тем мартом – метельным, ознобистым – теща померла, Харитины да Марьицы родная маменька. Аккурат к Евдокии преставилась, а на похороны родня в розвальнях съезжалась: машины в снегах застревали. Так и Марьица прибыла: одна, без хозяина. Отплакали маменьку, отпели, помянули, полный чин справили. Сменила Марьица черный плат на пуховую шаль да и брякнула:

– Отстали вы тут от культурной жизни в своем навозе.

– То исть как? – не понял Егор.

– Модерна настоящего нету. А у нас Федор Ипатыч новый дом ставит: пять окон на улицу. Электричество, универмаг, кино каждый день.

– Каждый день – и новое? – поразилась Тина.

– А мы на старое и не пойдем, надо очень. У нас этот... Дом моделей, промтовары заграничные.

Из темного угла строго смотрели древние лики. И Мать Божья уже не улыбалась, а хмурилась, да кто глядел-то на нее с той поры, как старуха душу отдала? Вперед все глядели, в этот, как его... в модерн.

– Да, ставит Федор Ипатыч дом – картинка. А старый освобождается: так куда ж его? Продавать жалко: гнездо родимое, там Вовочка мой по полу ползал. Вот Федор Ипатыч и наказал вам его подарить. Ну, пособите, конечно, сначала новый поставит, как водится. Ты, Егор, плотничать наострился.

Подсобили. Два месяца Егор от зари до зари топором тюкал. А зори-то северные: растыкал их Господь по дню далеко друг от друга. До звона намахаешься, покуда стемнеет. А тут еще Федор Ипатович пособляет:

– Ты еще вон тот уголок, Егорушка, притеси. Не ленись, работничек, не ленись: я тебе дом задарма отдаю, не конуру собачью.

Дом, правда, отдал. Только вывез оттуда все, что еще червь не сточил: даже пол в горнице разобрал. И навес над колодцем. И еще погреб раскатал да выволлок: бревна там в дело могли пойти. За сараюшку было взялся, да тут уж Харитина не выдержала:

– Змей ты подколотный кровопивец неистовый выжигает перелюта!

– Ну, тихо, тихо, Харитина. Свои ведь, чего шуметь? Не обижаешься, Егор? Я ведь по совести.

– Дык это... Стало быть, так, раз оно не этак.

– Ну и славно. Ладно уж, пользуйтесь сараюшкой. Дарю.

И пошел себе. Ладный мужик. И пиджак на нем бостоновый.

Помирились. В гости захаживали. Робел Егор в гостях-то в этих, хозяина слушал.

– Свет, Егор, на мужике стоит. Мужиком держится.

– Верно, Федор Ипатыч. Правильно.

– А разве есть в тебе мужинство настоящее? Ну, скажи, есть?

– Дык ведь как... Вон баба моя...

– Да не про то я, не про срам! Тьфу!..

Смеялись. И Егор со всеми вместе хихикал: чего ж над глупым-то не посмеяться? Это над Федором Ипатовичем не посмеешься, а над ним-то – да на здоровье, граждане милые! С полным вашим удовольствием!..

А Тина только улыбалась. Изо всех сил улыбалась гостям дорогим, сестре родимой да Федору Ипатовичу. Этому – особо: хозяин.

– Да, направлять тебя надо, Егор, направлять. Без указания ты ничего не спроворишь. И жизнь самолично никогда не осмыслишь. А не поймешь жизни – жить не научишься. Так-то, Егор Полушкин, бедоносец божий, так-то...

– Да уж, стало быть, так, раз оно не этак...

2

Но зато был Колька.

– Чистоглазый мужичок растет, Тинушка. Ох, чистоглазик парень!

– Ну и глупо, что так, – ворчала Харитина (она всегда на него ворчала. Как председатель сельсовета поздравил с законным браком, так и заворчала). – Во все времена чистоглазым одно занятие: на себе пахать заместо трактора.

– Ну что ты, что ты! Напрасно так-то, напрасно.

Колька веселым рос, добрым. К ребятам тянулся, к старшим. В глаза заглядывал, улыбался – и во все верил. Чего ни соврут, чего ни выдумают – верил тотчас же. Хлопал глазами, удивлялся:

– Ну-у?...

Простодушия в этом «ну-у?» на пол-России хватило бы, коли б в нем нужда оказалась. Но спроста на простодушия что-то пока не было, на иное спрос был:

– Колька, ты чего тут сидишь? Тятюку твоего самосвалом переехало: кишки изо рта торчат!

– А-а!..

Бежал куда-то Колька, кричал, падал, снова бежал. А мужики хохотали:

– Да куда ты, куда? Живой он, тятюка твой. Шутим мы так, парень. Шутим, понял?

От счастья, что все хорошо закончилось, Колька забывал обижаться, а только радовался. Очень радовался, что тятюка его жив и здоров, что не было никакого самосвала и что кишки у тятюки на месте: в животе, где положено. И поэтому звонче всех смеялся, от всего сердца.

А вообще нормальный малец был. В речку с обрыва нырял и ласточкой и топориком. В лесу не плутал и не боялся. Собак самых злоющих в два слова утихомиривал, гладил, за уши их дергал, как хотел. И цепной пес, пену с клыков не сбросив, комнатной собачонкой у ног его ластился. Ребята очень этому удивлялись, а взрослые объясняли:

– Отец у него собачье слово знает.

Правда тут была: Егора собаки тоже не трогали.

И еще Колька терпеливым рос. Как-то с березы сорвался (скворечник вешал, да ветка надломилась), до земли сквозь все сучья просквозил, и нога на сторону. Ну, вправили, конечно, швы на бок наложили, йодом вымазали с головы до ног – только кряхтел. Даже докторша удивилась:

– Ишь, мужичок с ноготок!

А потом, когда срослось все да зажило, Егор во дворе услышал: ревет сынок в сараюшке (Колька спал там, когда сестренка народилась. Горластая больно народилась-то – вся в маменьку). Заглянул: Колька лежал на животе, только плечи тряслись.

– Ты чего, сынок?

Колька поднял зареванное лицо: губы прыгали.

– Ункас...

– Чего?

– Ункаса убили. В спину ножом. Разве ж можно – в спину-то?

– Какого Ун... Ункасу?

– Последнего из могикан. Самого последнего, тятюка!..

Следующей ночью отец и сын не спали. Колька ходил по сараюшке и сочинял стихи:

– Ункас преследовал врага, готовый с ним сразиться. Настиг и начал биться...

Дальше стихи не получались, но Колька не сдавался. Он метался в тесном проходе меж поленницей и топчаном, бормотал разные слова и размахивал руками. За дощатой стеной заинтересованно хрюкал поросенок.

А Егор сидел на кухне в кальсонах и бязевой рубашке и, шевеля губами, читал книгу про индейцев. Над странными именами шумели знакомые сосны, под таинственной пирогой металась та же рыба, а томагавком можно было запросто наколоть к самовару лучины. И поэтому Егору уже казалось, что история эта происходила не в далекой Америке, а здесь, где-то на Печоре или на Вычегде, а хитрые имена придуманы просто так, чтобы было завлекательнее. Из сеней тянуло ночным холодком, Егор сучил застывшими ногами и читал, старательно водя пальцем по строчкам. А через несколько дней, осилив наконец-таки эту самую толстую в своей жизни книгу, сказал Кольке:

– Хорошая книжка.

Колька подозрительно всхлипнул, и Егор уточнил:

– Про добрых мужиков.

Вообще Колькины слезы недалеко были спрятаны. Он плакал от чужого горя, от бабьих песен, от книг и от жалости, но слез этих очень стеснялся и потому старался реветь в одиночестве.

А вот Вовка – погодок, двоюродный братишка – только от обиды ревел. Не от боли, не от жалости – от обиды. Сильно ревел, до трясушки. И обижался часто. Иной раз ни с того ни с сего обижался.

Вовка книг читать не любил: ему на кино деньги давали. Кино он очень любил и смотрел все подряд, а если про шпионов, то и по три раза. И рассказывал:

– А он ему – хрясь, хрясь! Да под дых, под дых!..

– Больно, поди! – вздыхал Колька.

– Дура! Это ж шпионы.

И еще у Вовки была мечта. У Кольки, к примеру, мечта каждый день была иная, а у Вовки – одна на все дни:

– Вот бы гипноз такой открыть, чтоб все-все заснули. Ну все! И тогда б я у каждого по рублику взял.

– Чего ж только по рублику?

– А чтоб не заметил никто. У каждого по рублику – это ого! Знаешь сколько? Тыщи две, наверное.

Поскольку денег у Кольки сроду не водилось, он о них и не думал. И мечты у него поэтому были безденежные: про путешествия, про зверей, про космос. Легкие мечты были, невесомые.

– Хорошо бы живого слона поглядеть. Говорят, в Москве слон каждое утро по улице ходит.

– Бесплатно?

– Так по улице же.

– Врут. Бесплатно ничего не бывает.

Вовка увесисто говорил, как сам Федор Ипатович. И глядел так же: с прищуром. Особый такой прищур, бурьяновский. Федору Ипатовичу это нравилось:

– Ты, Вовка, сквозь гляди. Сверху всё лжа.

Вовка и старался глядеть сквозь, но Колька все же с братиком водился. Не спорил, не дрался, но, правда, и особо не слушался. Если уж очень Вовка нажимал – уходил. Одного не прощал только: когда тот над отцом его, над Егором Полушкиным, подхихикивал. Здесь и до крайности порой доходило, но мирились быстро, все-таки родная кровь.

А про слона, который каждое утро в Москве по улицам ходит, Кольке отец рассказал. Уж где он про этого слона разузнал, неизвестно, потому что телевизора у них не было, а газет Егор не читал, но говорил – точно, и Колька не сомневался. Раз тятка сказал – значит так оно и есть.

А вообще-то, слонов они только на картинках видели и один раз – в кино. Там показывали цирк, и слон стоял на одной передней ноге, а после очень смешно кланялся и хлопал ушами. Сутки целые они тогда про слонов говорили.

– Умная животная.
– Тять, а в Индии пашут на них?
– Нет. – Егор не очень знал, что делают слоны в Индии, но прикидывал. – Здоров он больно для пахоты-то. Плуг выдернет.
– А чего ж они там делают?
– Ну как чего? Тяжелое всякое. На лесоповале, к примеру.
– Вот бы нам сюда слона, а, тять? Он бы штабеля грузил, рудостойку, пиловочник.
– Да-а. Жрет много. Сенов не напасешься.
– А в Индии как же?
– Дык у них с кормами порядок. Лето сплошное: траву хоть двадцать раз коси.
– И валенки не нужны, да, тять? Вот красота-то, наверно!
– Ну не скажи. У нас получше будет. У нас – Россия. Самая страна замечательная.
– Самая-самая?
– Самая, сынок. Про нее песни поют по всей земле. И все иностранные люди нам завидуют.

– Значит, мы счастливые, тять?
– Это не сомневайся. Это точно.

И Колька не сомневался: раз тятька сказал, стало быть, так оно и есть. Тем более что сам Егор истово в это верил. Ну а уж если Егор во что-то там верил истово, то и говорил об этом особо, и мнения своего не менял, и даже с самим Федором Ипатовичем спорил крепко.

– Глупый ты мужик, Егор, раз такое мелешь. Ну какая на тебе рубаха? Ну, скажи?
– Синяя.

– Синяя! Дерьмовая на тебе рубаха: с третьей стирки на подтирку. А у меня – заграница. Простирунул, встряхнул – и гладить не надо, и как новая!

– А мне и в этой ладно. Она к телу ближе.

– Ближе! Твоей рубахой рыбу ловить сподручно: к ветру она ближе, а не к телу.

– А ты скажи, Федор Ипатыч, с тебя во тьмах-то, как рубаху сымаешь, искры сыпятся?

– Ну?

– Вот. Потому – чужая она, рубаха-то твоя. И от противности электричество вырабатывает. А у меня с рубахи ни единой искорки не спадет. Потому – своя, к телу льнет, ластится.

– Бедоносец ты, Егор. Пра слово: бедоносец! Природа обидела.

– Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак...

Улыбался Егор. Смирно улыбался. А Колька негодовал. Люто негодовал, но при старших спорить не смел: при старших спорить – отца позорить. Наедине возмущался:

– Ты чего смалчиваешь, тять? Он тебя всяко, а ты смалчиваешь.

– Бранчливых, Коля, сон не любит. Тяжко спят они. Маются. Так-то, сынок.

– С мяса они маются! – сердился Колька.

Сердился он потому, что Егор врал. Врал, сопел при этом, глаза прятал: Колька этого не любил. Не любил отца вот такого, жалкого. И Егор понимал, что сын стыдится его и мучается от стыда этого, и мучился сам.

– Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

А мучения все эти, стыд дневной и полуночный, крики жены да соседские ухмылочки – все от одного корня шли, и корнем тем была Егорова трудовая деятельность. Не задалась она у него, деятельность эта, на новом-то месте, словно вдруг заколодило ее, словно вдруг руки Егору отказали или соображение в гости утекло. И мыкался Егор, и лихорадило его, и по ночам-то спал он не в пример хуже бранчливого Федора Ипатовича.

– Руководить тобою нужно, Егор. Руководить!

Но зато был Колька. Ни у кого такого Кольки не было. Мужичка такого чистоглазого!..

3

Не задалась у Егора Полушкина на новом месте привычная работа. Правда, первых два месяца, когда топориком для Федора Ипатовича от солнышка до солнышка позванивал, все вроде нормально шло. Федор Ипатович хоть и руководил им, однако взашей не подталкивал, свою выгоду соблюдая. Мастера торопить нельзя, мастер – сам себе голова: это всякий хозяин сообразит. И хоть и бегал вокруг, и кипятил кровь, а особо подгонять не решался. И Егор работал, как сердце велело: где поднажать, где передохнуть, а где и отойти, присесть на бревнышко, на работу со стороны глянуть. Да не торопливо, не в задыхе – спокойно, взглядливо, на три сигарки. За эту работу кормили его с семейством ежедень, штаны старые дали и домишко. В общем, Егор не сетовал, не обижался: по закону, по сговору все было сделано. Полмесяца он в новом жилье устраивался, неделю радовался, а потом пошел работу искать. Не за-ради дома да удобства родственника – за-ради хлебушка.

Плотник есть плотник: за ним всегда работа бегаёт – не он за работой. Тем более что весь поселок труд Егоров видел, да и петух тот, его топором сработанный, с конька на весь белый свет кукарекал. Так что взяли Егора, можно сказать, с поясным поклоном в плотницкую бригаду местной строительной конторы. Взять-то взяли, а через полмесяца...

– Полушкин! Ты сколько дён стенку лизать будешь?

– Дык ведь это... Доска с доской не сходится.

– Ну и хрен с ними, с досками! Тебе, что ль, тут жить? У нас план горит, премиальные...

– Дык ведь для людей жа...

– Слазь с лесов! Давай на новый объект!

– Дык ведь щели.

– Слазь, тебе говорят!..

Слезал Егор. Слезал, шел на новый объект, стыдась оглянуться на собственную работу. И с нового объекта тоже слезал под сочную ругань бригадира, и снова куда-то шел, на какой-то самоновейший объект, снова делал что-то где-то, топором тюкал, и снова волокли его, не давая возможности сделать так, чтобы не маялась совесть. А через месяц вдруг швырнул Егор казенные рукавицы, взял личный топор и притопал домой за пять часов до конца работы.

– Не могу я там, Тинушка, ты уж не сердчай. Не дело у них – понарошка какая-то.

– Ах горе ты мое бедоносец юридивый!..

– Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

Откочевал он в другую бригаду, потом в другую контору, потом еще куда-то. Мыкался, маялся, ругань терпел, но этой поскаковской работы терпеть никак не мог научиться. И мотало его по объектам да бригадам, пока не перебрал он их все, что были в поселке. А как перебрал, так и отступился: в разнорабочие пошел. Это, стало быть, куда пошлют да чего велят.

И здесь, однако, не все у него гладко сходилось. В мае – только земля вздохнула – определили его траншею под канализацию копать. Прораб лично по веревке трассу ему отбил, кольшиков натыкал, чтоб линия была, по лопате глубину отметил:

– Вот до сих пор, Полушкин. И чтоб по ниточке.

– Ну, понимаем.

– Грунт в одну сторону кидай, не разбрасывай.

– Ну, дык...

– Нормы не задаю: мужик ты совестливый. Но чтоб...

– Нет тут вашего беспокойства.

– Ну добро, Полушкин. Приступай.

Поплевал Егор на руки, приступил. Землица сочная была, пахучая, лопату принимала легко и к полотну не липла. И тянуло от нее таким родным, таким ласковым, таким добрым

теплом, что Егору стало вдруг радостно и на душе уютно. И копал он с таким старанием, усердием да удовольствием, с какими работал когда-то в родимой деревеньке. А тут майское солнышко, воробьи озоруют, синь небесная да воздух звонкий! И потому Егор, про перекуры забыв, и дно выглаживал, и стеночки обрезал, и траншея за ним еле поспевала.

– Молоток ты, Полушкин! – бодро сказал прораб, заглянувший через три часа ради успокоения. – Не роешь, а пишешь, понимаешь!

Писал Егор из рук вон плохо и потому похвалу начальства не очень чтобы понял. Но тон уловил и наддал изо всех сил, чтобы только угодить хорошему человеку. Когда прораб явился в конце рабочего дня, чтобы закрыть наряд, его встретила траншея трехдневной длины.

– Три смены рванул! – удивился прораб, шагая вдоль канавы. – В передовики выходишь, товарищ Полушкин, с чем я тебя и...

И замолчал, потому что ровная, в нитку траншея делала вокруг ничем не примечательной кочки аккуратную петлю и снова бежала дальше, прямая как стрела. Не веря собственным глазам, прораб долго смотрел на загадочную петлю и не менее загадочную кочку, а потом потыкал в нее пальцем и спросил почти шепотом:

– Это что?

– Мураши, – пояснил Егор.

– Какие мураши?

– Такие, это... Рыжие. Семейство, стало быть. Хозяйство у них, детишки. А в кочке, стало быть, дом.

– Дом, значит?

– Вот я, стало быть, как углядел, так и подумал...

– Подумал, значит?

Егор не уловил ставшего уже зловещим рефрена. Он был очень горд справедливо заслуженной похвалой и собственной инициативой, которая позволила в неприкосновенности сохранить муравейник, случайно попавший в колею коммунального строительства. И поэтому разъяснил с воодушевлением:

– Чего зря зорить-то? Лучше я кругом окопаю...

– А где я тебе кривые трубы возьму, об этом ты не подумал? На чьей шее я чугунные трубы согну? Не сообразил?... Ах ты, растудыть твою...

Про петлю вокруг муравьиной кучи прораб растрезвонил всем, кому мог, и прохождению Егору не стало. Впрочем, он еще терпел по великой своей привычке к терпению, еще ласково улыбался, а Колька ходил сплошь в синяках да царапинах. Егор сразу заметил синяки эти, но сына не трогал: вздыхал только. А через неделю учительница пришла.

– Вы Егор Савельич будете?

Нечасто Егора отчеством величали, ох нечасто! А тут – пигалица, девчоночка, а – уважительно.

– Знаете, ваш Коля пятый день в школу не ходит.

– Как так получается?

– Наверное, обидел его кто-то, Егор Савельич. Сначала он дрался очень, а потом пропал. Я его вчера на улице встретила, хотела расспросить, но он убежал.

– Неуважительно.

– Вы поговорите с ним, Егор Савельич. Поласковее, пожалуйста: он мальчик чуткий.

– Конечно, как водится. Спаси бог за беспокойство ваше.

Поздним вечером, когда в окнах засветились телеэкраны, Егор застал Кольку в сараюшке. Колька было прикинулся спящим, засопел почище поросенка, но отец будить его не стал, а просто сел на топчан, достал кисет и начал скручивать сигарку.

– Учителка твоя приходила давеча. Обходительный человек.

Примолк Колька. И поросенок тоже примолк.

– Ты ее не тревожь, сынок, не беспокой. У ней, поди, и без нас хлопот-то.

Повернулся Колька, сел, глаза вытаращил. Злющие глазищи, сухие.

– А я Тольке Безуглову зуб вышиб!

– Ай, ай! Что же так-то?

– А смеется.

– Ну дык и хорошо. Плакать нехорошо. А смеяться – пусть себе.

– Так над тобой же! Над тобой!.. Как ты трубы гнул вокруг муравейника.

– Гнул, – сознался Егор. – А что чугуны-то не гнутся, об этом недодумал. Жалко, понимаешь, мурашей-то: семейство, детишки, место обжитое.

– Ну а что, кроме смеху-то, что? Все равно ведь канаву спрямили – только зря ославился.

– Не то, сынок, что ославился, а то, что... – Егор вздохнул, помолчал, собирая в строй разбежавшиеся мысли. – Чем, думаешь, работа держится?

– Головой!

– И то. И головой, и руками, и сноровкой, а главное – сердцем. По сердцу она – человек горы свернет. А уж коли так-то, за-ради хлебушка, то и не липнет она к рукам-то. Не дается, сынок, утекает куда-то. И руки тогда – как крюки, и голова – что пустой чугунок. И не дай тебе господь, сынок, в месте своем ошибиться. Потому место все определяет для сердца-то. А я тут, видать, не к месту пришелся: не лежит душа, топорщится. И шумно тут, и народ дерганый, и начальство все спешит куда-то, все гонит, подталкивает да покрикивает. И выходит, Коля, выходит, что я себя маленько потерял. И как найти – не удумаю, не умыслю. Никак не удумаю – вот главное. А что смеются, так пусть себе смеются в полное здравие. На людей, сынок, обижаться не надо. Последнее это дело – на людей обиду держать. Самое последнее.

Говорил он это не сыну в учение, а по совести. Сам-то он на людей обижаться не умел, обиды прощал щедро и даже на прораба того, что по поселку его ославил и от работы всенародно отстранил, никакого зла не держал. Сдал очередные казенные рукавицы и опять пошел в отдел найма.

– Ну что мне с тобой, Полушкин, делать? – вздыхал начальник. – И тихий ты, и старательный, и непьющий, и семья опять же, а на одном месте больше двух недель не удержишься... Куда тебя теперь...

– Воля ваша, – сказал Егор. – Какое будет распоряжение.

– Распоряжение!.. – Начальник долго пыхтел, чесал в затылке. – Слушай, Полушкин, тут у нас лодочная станция на пруду открывается. Может, лодочником тебя, а? Что скажешь?

– Можно, – сказал Егор. – И грести умеем, и конопатить, и смолить. Это можно.

Прошлым летом речку под поселком запрудили. Разлилась, лужи затопила, углом к лесу подобралась: к тому, последнему, что вокруг Черного озера еще сохранился. Ожили старые вырубки, березняком закудрявились, ельником да сосенником заштитились. И уж не только свои, поселковые, – из центра туристы наезжать стали. Из самой даже вроде бы Москвы.

Вот тогда-то и сообразило местное начальство свою выгоду. Туристу, а особо столичному, что надо? Природа ему нужна. По ней он среди асфальта да многоэтажек своих бетонных с осени тосковать начинает, потому что отрезан он от земли камнем. А камень – он не просто душу холодит, он трясет ее без передыху, потому как не способен камень грохот уличный угасить. Это тебе не дерево – теплое да многотерпеливое. И грохот тот городской, шараясь от камней да бетона, мечется по улицам и переулкам, проползает в квартиры и мотает незащитное человеческое сердце. И уже нет этому сердцу покоя ни днем ни ночью, и только во сне видит оно росные зори и прозрачные закаты. И мечтает душа человеческая о покое, как шахтер после смены о тарелке щей да куске черного хлебушка.

Но чистой природой горожанина тоже не удержишь. Во-первых, мало ее, чистой, осталось, а во-вторых, балованный он, турист-то. Он суетиться привык, поспешать куда-то и просто так над речушкой какой от силы два часа высидит, потом либо транзистор запустит на

всю катушку, либо, не дай бог, за пол-литрой потянется. А где пол-литра, там и вторая, а где вторая, там и безобразия. И чтобы ничего этого не наблюдалось, надо туриста отвлечь. Надо лодку ему подсунуть, рыбалку организовать, грибы-ягоды, удобства какие-нито. И две выгоды: безобразий поменьше, да денга из туристского кармана в местный бюджет все же просочится, потому что за удовольствия да за удобства всякий свою копейку выложит. Это уж не извольте сомневаться.

Все эти разъяснения Егор получил от заведующего лодочной станцией Якова Прокопыча Сазанова. Мужик был пожилой, сильно от жизни уставший: и говорил тихо, и глядел просто. Был он в прошлом бригадиром на лесоповале да как-то оплошал: под матерую сосну угодил в полной натуре. Полгода потом по больницам валялся, пока все в нем на прежние места не вернулось. А как оклемался маленько, так и определили его сюда, на лодочную станцию.

– Какая твоя, Полушкин, будет забота? Твоя забота – это, перво-наперво, ремонт. Чтоб был порядок: банки на месте, стлани годные, весла в порядке и воды чтоб в лодках не боле кружки.

– Сухо будет, – заверил Егор. – Ясно-понятно нам.

– Какая твоя вторая забота? Твоя вторая забота – пристань. Чтоб чисто было, как в избе у совестливой хозяйки.

– Это мы понимаем. Хоть ешьте с нее, с пристани-то, так сделаем.

– Есть с пристани запрещаю, – устало сказал Яков Прокопыч. – Под навесом столики сообразим и ларек без напитков. Ну, может, чай. А то потопнет кто – затаскают.

– А если свое привезут?

– Свое нас не касается: они люди вольные. Однако, если два своих-то, придется отказать.

– Ага!

– Но – обходительно. – Яков Прокопыч важно поднял палец. – Обходительность – вот третья твоя забота. Турист – народ нервный, большой можно сказать, народ. И с ним надо обходительно.

– Это уж непременно, Яков Прокопыч. Это уж будет в точности.

С заведующим разговаривать было легко: не орал, не матерился, не гнал. Разумные вещи разумным голосом говорил.

– Лодки, когда напрокат, это я отпускать буду. Но ежели перевезти на ту сторону подрядят, тогда тебе идти. Пристанешь, где велят, поможешь вещи сгрузить и отчалишь, только когда спасибо скажут.

– До спасибо, значит, ждать?

– Ну, это к примеру я, Полушкин, к примеру. Скажут: свободен, мол, – значит, отчаливай.

– Ясно-понятно.

– Главное тут – помочь людям. Ну, может, костер им сообразить или еще что. Услужить, словом.

– Ну дык...

Яков Прокопыч посмотрел на Егора, прикинул, потом спросил:

– На моторе ходил когда?

– Ходил! – Егор очень обрадовался вопросу, потому что это выходило за рамки его плотничьих навыков. Это было нечто сверх нормы, сверх обычного, и этим он гордился. – Ну, дык, ходил, Яков Прокопыч! Озера у нас в деревне неоглядные! Бывало, пошлет председатель...

– Какие знаешь?

– Ну, это... «Ветерок», значит, знаю. И «Стрелу».

– У нас «Ветерок», три штуки. Вещь ценная, понимать должен. И на мне записана. Их особо береги: давать буду лично под твою прямую ответственность. И только для перевозок в дальние концы: в ближние и на веслах достигнешь.

– На моторе хожено-езжено! Это не беспокойтесь! Это мы понимаем!

Но в моторах нужды пока не было, потому что дальний турист ныне что-то запаздывал. А ближних туристов да местную молодежь интересовали только лодки напрокат, для прогулки. Этими делами занимался сам Яков Прокопыч, а Егор с увлечением конопатил, чинил и красил обветшавший за зиму инвентарь. И уставал с удовольствием, и спал крепко, и улыбаться начал не так: не поспешно, не второпях, а с устатку...

4

Теперь Колька ходил в школу аккуратно. За полчаса появлялся, раньше учительниц. И на уроках сидел степенно, а когда что-нибудь интересное рассказывали – ну, про зверей или про историю с географией, – рот разевал. Все этого момента ждали, весь класс. И как только случалось – враз замирали, и Вовка тайком от учительницы трубочку поднимал. Из бузины трубочка: напихаешь в нее шариков из промокашки, прицелишься, дунешь – точно Кольке в рот разинутый. Вот уж веселья-то!

Сколько раз Колька на это попадался – и счет потеряли. Пока помнил, крепко рот зажимал, губа к губе. А как начнет учительница про древних героев рассказывать или стихи читать – забывался. Забывался, ловил каждое слово и рот, наверное, для того и разевал, чтобы слов этих не упустить. Вот тут-то в него и стреляли. И если удачно, Оля Кузина в ладоши хлопала, а Вовка куражился:

– Снайпер я! Я в кого хочешь камнем за сто шагов попасть могу!

Оля Кузина на него широкими глазами смотрела. Только ресницы вздрагивали. Из-за таких ресниц любой бы в драку полез, а Кольке все не до того было:

– Слышал, что Нонна Юрьевна про богатыря Илью Муромца рассказывала? Сиднем, говорит, тридцать три года сидел, а как пришли калики перехожие...

– Так ты и рот разинул! А я в него – жеванкой!

– С чернилами жеванка-то! – восторгалась Оля Кузина.

– Ты разиня, а я снайпер! Правда, Олька?

Очень важничал Вовка. А два дня назад уж так разважничался, что и про плевательную трубку свою забыл. Ходил, живот выставив:

– Папку в область вызывают. Удочку бамбуковую привезти обещался.

Федора Ипатовича провожали по-родственному: со столом да с поклонами. Пути желали счастливого, возвращения быстрого, дела удачливого. Федор Ипатович брови супонил, задумывался:

– С чего бы это приспичило им?

– А для совета, – подсказывала Харитина. – Для совета, Федор Ипатыч, для совещания с вами.

– Совещания? – Вздыхал хозяин почему-то: – М-да...

– Путь вам тележный, ямщик прилежный, кобылка поигривистой да песня позаливистой, Федор Ипатыч!

Чокался хозяин, благодарил. Но не пил, в сторону стакан отставлял, хмурился:

– И с чего бы это им вызывать меня, а?

Отбыл чин чином: и сыт, и хмелен, и ус в табаке. Неделью отсутствовал и вернулся без предупреждения: ни письмеца, ни телеграммы вперед не выслал. Марьица всполошилась:

– Ахти мне, гостей за пустой стол сажать!

– Погоди, Марья. Не надо гостей.

– Как же не надо, Федя? Обычай ведь. Не нами заведено.

Крякнул Федор Ипатович:

– Ну, зови. Черт их с обычаями...

Гостей Федор Ипатович любил принять широко, с простором и с временем. Но и с выбором тоже: кого ни попадая за стол не сажал. Из райисполкома инструктор наведывался (рыбалку любил пуще молодой жены!), из поссовета кое-кто заглядывал. Ну, конечно, завторг, завмаг, завгар: на земле живем, не на небе. И (а куда его денешь?) – свояк. Егор Полушкин с Харей своей разлюбезной.

– Будь здоров, Федор Ипатыч, с прибытием! Как ездилось-путешествовалось по областной нашей столице? Что на рынке слышно насчет вздорожания, что в кругах говорят насчет космоса?

Федор Ипатович с ответами не спешил. Доставал чемодан заграничный, при гостях ремни расстегивал:

– Не обессудьте, примите в подарок. Не на пользу – так, для памяти.

Всех одаривал, никого не забывал. И Егору с Харитиной перепадало: а что ты сделаешь? Даже Кольке компас подарил:

– Держи, племяш. Чтоб не блудить.

Хохотали все почему-то. А Колька от счастья светился, как ранняя звездочка: компас ведь! Настоящий: со стрелкой, с югом-севером.

«Эй, там, на руле! Четыре румба к весту! Так держать!»

«Есть так держать!»

Вот о чем компас ему рассказывал. А насчет того, чтобы не заблудиться, так Колька в лесу – как вы в своих квартирах. С какой стороны кора шершавее? Не знаете? А Колька знает, так что для леса компас ему не нужен. Он ему для путешествий очень даже нужен. Прямо позарез нужен.

«Эй, на марсе! Не видно ли земли обетованной?»

«Не видно, капитан! Одно море бурное кругом!»

«Так держать! Будет земля впереди!»

Это он, конечно, про себя выкрикивал: зачем зря людей пугать? Не поймут: расстроятся.

А Вовка складную удочку получил, трехколенку. Хвастался:

– Навалом рыбки будет! Тебе, пап, какую поймать?

– Понавесистей! – кричали. – С подкожным жирком!

Улыбался Федор Ипатович. Гладил сына по ершистой голове, а улыбался невесело. И когда самые важные гости ушли, не выдержал:

– Лесничий новый вызывал. Столичная штучка-дрючка. Почему, говорит, лес неустроенный? Где, говорит, акты на порубку? Где, говорит, профилактика против вредителей? А сам в карту глядит: в лесу нашем еще и не бывал. А уж грозится.

– Ай, ай! – вздыхал Егор; это ему Федор Ипатович жаловался, потому что некому больше жаловаться было, а хотелось. – У меня, знаешь, тоже это... неприятности.

Но неприятности Егора мало волновали Федора Ипатовича: своих забот хватало.

– Да-а. Ну ничего, обомнется. Жизнь, она и не с таких пух да перо берет, верно? Обомнется, мне же поклонится. Без меня тут никакому лесничему не усидеть, я все ходы-выходы да переходы знаю. И кто с кем по субботам водочкой балуется, тоже мне известно. Кто с кем пьет да как потом выглядит.

– Да, выглядит, это точно. Кто как выглядит, это правильно, – бормотал Егор.

Он выкушал два лафитничка и страдал о своем. Потому страдал, что впервые вызвал гнев усталого Якова Прокопыча и теперь очень боялся потерять тихую, уважительную, с такими мытарствами обретенную пристань.

– Я, значит, чтоб понятней было, какая где. Чтоб не искать и чтоб красиво.

– Счетов на проданный лес не поступало? – гнул свое хозяин. – Ладно, сделаем вам счета. Будут вам все счета, раз считаться хотите. А считаться начнем, не больно долго-то в кабинете своем продержитесь. Не-ет, недолго...

– А он говорит: в голубое, мол, пускай. А если все в голубое пустить или, скажем, все в розовое – это что тогда получится? Это получится полное равнодушие...

– Равнодушие? – Федор Ипатович поморгал красными глазками (перехватил маленько с огорчения-то). – Это ты верно, свояк, насчет равнодушия. Ну, я ему это равнодушие покажу. Я ему припомню равнодушие-то, я...

– Во-во, – закивал Егор. – Красота – это разве когда все одинаковое? Красота – это когда разное все! Один, скажем, синий, а другой, наоборот же, розовый. А без красоты как же можно? Без красоты как без праздника. Красота – это...

– Ты чего мелешь-то, бедоносец чертов? Какая красота? Деньги он с меня за дом требует, деньги, понятно тебе? А ты – красота! Тьфу!..

Заюлил Егор, захихикал: чего зря хозяина гневить? Но – расстроился. Сильно расстроился, потому что так и не удалось ему огорчением своим поделиться. А с огорчением спать ложиться, да еще после двух лафитничков, – шапетиков во сне увидишь. Натуральных – с хвостиком, с рожками и с копытцами. Тяжелый сон: душить будут шапетики, так старые люди говорят. А они знают, что к чему. Они, поди, лафитничков-то этих за свою жизнь принимались – с озеро Онегу. И с радости, и с огорчения.

И опять ворочался Егор в постели, опять вздыхал, опять казнился. Ох, непутевый он мужичонка, ох, бедоносец, Божий недогляд!

Старался Егор на этой работе – и про перекуры забывал. Бегом бегал, как молодой. Заведующий только-только рот разинет:

– Ты, Полушкин...

– Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

И – бежал. Угадал – хорошо, не угадал – обратно бежал, за разъяснениями. Но старание было как у невесты перед будущей свекровью.

– Лодки ты хорошо проконопатил, Полушкин. И засмолил хорошо, хвалю... Стой, куда ты?

– Я, это...

– Дослушай сперва, потом побежишь. Теперь лодки эти следует привести в праздничную внешность. В голубой цвет. А весла – лопасть только, понял? – в красный: чтоб издаля видно было, ежели кто упустит. А на носу у каждой лодки номер напишешь. Номер – черной краской, как положено. Вот тебе краски, вот тебе кисти и вот тебе бумажка с номерами. Срисуеть один номер – зачеркни его, чтобы не спутаться. Другой срисуеть – другой зачеркни. Понял, Полушкин?

– Понял, Яков Прокопыч. Как тут не понять?

Схватил банки – только пятки засверкали. Потому засверкали, что сапоги Егор берег и ходил в них от дома до пристани да обратно. А на работе босиком поспешал. Босиком и удобства больше, и выходит спорее, и сапоги зря не снашиваются.

Три дня лодки в голубой колер приводил. Какие там восемь часов: пока работалось, не уходил. Уж Яков Прокопыч все хозяйство свое пересчитает, замки повесит, оглядит все, домой соберется, а Егор всю еще старается.

– Закругляйся, Полушкин.

– Счас я, счас, Яков Прокопыч.

– Пятый час время-то. Пора.

– А вы ступайте, Яков Прокопыч, ступайте себе. За краску и кисточки не беспокойтесь: я их домой отнесу.

– Ну как знаешь, Полушкин.

– До свидания, Яков Прокопыч! Счастливого пути и семейству поклон.

Даже не поворачивался, чтоб время зря не терять. В два слоя краску накладывал, сопел, язык высовывал: от удовольствия. Пока лодки сохли, за весла принялся. Здесь особо старался: красный цвет поспешаловки не любит. Переборщишь – в холод уйдет, в густоту; недоборщишь – в розовый ударится. А цвет Егор чувствовал: и малярить приходилось, и нутро у него на цвета настроено было особо, от купели, что называется. И так он его пробовал, и этак – вышло, как хотел. Горели лопасти-то у весел, далеко их было видать.

А вот как за номера взялся, как расписал первых-то два (№ 7 и № 9 – по записочке), так и рука у него провисла. Скучно – черное на голубом. Номер – он ведь номер и есть, и ничего за ним больше не проглядывает. Арифметика одна. А на небесной сини арифметика – это ж расстроиться можно, настроение потерять. А человек ведь с настроением лодку-то эту брать будет: для отдыха, для удовольствия. А ему – номер девять: черным по голубому. Как на доме: сразу про тещу вспомнишь. И от праздничка в душе – пар один.

И тут Егора словно вдруг ударило. Ясность вдруг в голову пришла, такая ясность, что он враз кисть бросил и забегал вокруг своих лодок. И так радостно ему вдруг сделалось, что от радости этой – незнакомой, волнующей – вроде затрясло его даже и он все никак за кисть взяться не мог. Словно вдруг испугался чего-то, но хорошо как-то испугался, весело.

Конечно, посоветоваться сперва следовало: это он потом сообразил. Но посоветоваться тогда было не с кем, так как Яков Прокопыч уже подался восвояси, и поэтому Егор, покурился и не успокоившись, взял кисть и для начала закрасил на лодках старательно выписанные черные номера «7» и «9». А потом, глубоко вздохнув, вновь отложил кисть и разыскал в кармане огрызок плотницкого карандаша.

В тот раз он до глубокой ночи работал: благо ночи светлые. Благоверная его уж за ворота пять раз выбегала, уж голосить пробовала для тренировки: не утоп ли, часом, муженек-то? Но Егор, пока задуманного не совершил, пока кисти не вымыл, пока не прибрался да пока вдосталь не налюбовался на дело рук своих, домой не спешил.

– Господи где ж носило-то тебя окаянного с кем гулял-блукал ночью темною изверг рода ты непотребного...

– Работал, Тина, – спокойно и важно сказал Егор. – Не шуми: полезную вещь сделал. Будет завтра радость Якову Прокопычу.

Чуть заря занялась – на пристань прибежал: не спалось ему, не терпелось. Еще раз полюбовался на труд свой художественный и с огромным, радостным нетерпением стал ожидать прихода заведующего.

– Вот! – сказал вместо «здравствуйте». – Смотрите, что удумал.

Яков Прокопыч глядел долго. Основательно глядел, без улыбки. А Егор улыбался от уха до уха: аж скулы ломило.

– Так, – уронил наконец Яков Прокопыч. – Это как понимать надо?

– Оживление, – пояснил Егор. – Номер, он что такое? Арифметика он голая. Черное на голубом: издавека-то и не разберешь. Скажем, велели вы седьмой номер выдать. Ладно-хорошо: ищи, где он, седьмой-то этот. А тут – картинка на носу: гусенок. Человек сразу гусенка углядит.

Вместо казенных черных номеров на небесной сини лодок были ярко намалеваны птицы, цветы и звери: гусенок, щенок, георгин, цыпленок. Егор выписал их броско, мало заботясь о реализме, но передав в каждом рисунке безошибочную точность деталей: у щенка – вислые уши и лапа, у георгина – упругость стебля, согнутого тяжелым цветком, у гусенка – веселый разинутый клюв.

– Вот и радостно всем станет, – живо продолжал Егор. – Я – на цыпленке, а ты, скажем, на поросенке. Ну-ка, догоняй! Соревнование.

– Соревнование? – переспросил озадаченный Яков Прокопыч. – Гусенка с поросенком? Так. Дело. Ну а если перевернется кто, не дай бог? Если лодку угонят, тоже не дай бог? Если ветром унесет ее (твоя вина будет, между прочим)? Что я, интересное дело, милиции сообщать буду? Спасайте цыпленка? Ищите поросенка? Георгинчик сперли? Что?!

– Дык, это...

– Дык это закрасить, к едреной бабушке! Закрасить всех этих гусенков-поросенков, чтобы и под рентгеном не просвечивали! Закрасить сей же момент, написать номера, согласно порядку, и чтоб без самовольности! Тут тебе не детский сад, понимаешь ли, тут тебе очаг

культуры: его из райкома посетить могут. Могу я секретаря райкома на георгин посадить, а? Могу?... Что они про твоих гусенков-поросенков скажут, а? Не знаешь? А я знаю: абстракт. Абстракт, они скажут, Полушкин.

– Чего скажут?

– Не доводи меня до крайности, Полушкин, – очень проникновенно сказал Яков Прокопыч. – Не доводи. Я, Полушкин, сосной контуженный, у меня справка есть. Как вот дам сейчас веслом по башке!..

Ушел Егор. Скучно и долго закрашивал произведения рук своих и сердца, вздыхал. А упрямые гусятки-поросята вновь вылезали из-под слоя просохшей краски, и Егор опять брал кисть и опять закрашивал зверушек, веселых, как в сказках. А потом холодно и старательно рисовал черные номера. По бумажке.

– Опасный ты человек, Полушкин, – со вздохом сказал Яков Прокопыч, когда Егор доложил, что все сделано.

Яков Прокопыч пил чай из термоса. На термосе были нарисованы смешные пузатые рыбы с петушиными хвостами. Егор глядел на них, переступая босыми ногами.

– Предупреждали меня, – продолжал заведующий. – Все прорабы предупреждали. Говорили: шепутной ты мужик, с фантазиями. Однако не верил.

Егор тихо вздыхал, но о прощении помалкивал. Чувствовал, что должен бы попросить – для спокойствия дальнейшей жизни, – что ждет этого Яков Прокопыч, но не мог. Себя заставить не мог, потому что очень был сейчас не согласен с начальником. А с термосом – согласен.

– Жить надо как положено, Полушкин. Велено то-то – делай то-то. А то, если все начнут фантазировать... Знаешь, что будет?

– Что? – спросил Егор.

Яков Прокопыч дожевал хлебушко, допил чай. Сказал значительно:

– Про то даже думать нельзя, что тогда будет.

– А космос? – спросил вдруг Егор (и с чего это понесло его?). – Про него сперва фантазии были: я по радио слышал. А теперь...

– А мат ты слышал?

– Приходилось, – вздохнул Егор.

– А что это такое? Мат есть брань нецензурная, понял? А еще есть – цензурная. Так? Вот и фантазии тоже: есть цензурные, а есть нецензурные. У тебя – нецензурная.

– Это поросенок-то с гусенком нецензурные? – усомнился Егор.

– Я же в общем смысле, Полушкин. В большом масштабе.

– В большом масштабе они гусем да свиньей будут.

– А гусь свинье не товарищ!.. – затрясся вдруг Яков Прокопыч. – И марш с глаз моих, покуда я тебя лично нецензурной фантазией не покрыл!..

Вот аккурат после этого разговора Федор Ипатович-то и прибыл, и встречали его тогда всем миром с возвращеньцем. Вот почему и завздохал-то Егор всего с двух лафитничков, заскучал, заопасался.

Но опасаться, как вскорости выяснилось, было еще преждевременно. Усталый Яков Прокопыч зла в сердце не держал, как выкричался, а вскоре и вообще позабыл об этом происшествии. И снова радостно заулыбался Егор, снова забегал, сверкая голыми пятками.

– Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

С другой стороны беда подкрадывалась. Тяжелая беда, что туча на Ильин день. Но про беду собственную человеку вперед знать не дано, и потому бьет она всегда из-за угла. И потом только вздыхать остается да в затылке почесывать:

– Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!..

5

Водка во всем виновата оказалась. Впрочем, не водка даже, а так, не поймешь что. Невезуха, одним словом.

Вообще-то, Егор пил мало: и денег сроду у него не водилось, и вкуса он к ней особого не чувствовал. Нет, не отказывался, конечно, упаси бог: на это ума хватало. Но не предлагали, правда; чести не оказывали. Разве что свояк Федор Ипатович угощал. По случаю.

Случаев было мало, но пьянел Егор быстро. То ли струна басовая в нем не настроена была, то ли болезнь какая внутренняя, то ли просто слаб был, картошечку капусткой который год заедая. И Егор хмелел быстро, и Харитина от него тоже не отставала: с полрюмочки маковым цветом цвела, а с рюмочки уж и на песню ее потягивало. Песен-то она знала великое множество, но с водочки, бывало, только припевки пела. И не припевки даже, а припевку. Однуединственную, но печальную:

Ох, тягры-тягры-тягры,
Ох, тягры да вытягры!
Кто б меня, младу-младену,
Да из горя б вытягнул...

Так, стало быть, хмель ее направлял – в печальную сторону. Хмель, он ведь кому куда кидается: кому – в голос, кому – в кулак, кому – в сердце, кому – в голову, а Егору – в ноги. Не держали они его, гнулись во всех направлениях и путались так, будто не две их у него, а штук восемь, как у рака. На Егора это обстоятельство действовало всегда одинаково: он очень веселился и очень всех любил. Впрочем, он всегда очень всех любил. Даже в трезвом состоянии.

В тот день с утра раннего первый турист припожаловал: трое мужиков да с ними две бабеночки. Издалека, видать, пожаловали: мешков у них было навалом. И сами не по-местному выглядели: мужики сплошь – без кепок и в штанах с заклепками, а бабенки их – наоборот: в белых кепках. И в таких же штанах – только в облипochку. В такую облипochку, что Егор все время на них косился. Как забудется маленько, так и косится: было, значит, на что коситься.

– Доброго здравия, гости дорогие. – Яков Прокопыч пел – не говорил. И кепку снял уважительно. – Откуда это будете, любопытно узнать?

– Отсюда не видно, – ответили. – На ту сторону перевезете?

– На ту сторону можно. – Яков Прокопыч и кепку надел, и улыбку спрятал. – Перевезем, согласно тарифу на лодке с мотором. Прошу оплатить проезд в оба конца.

– А почему же в оба?

– Лодка вас куда потребуется доставит, а обратно порожняком пойдет.

– Справедливо, – сказал второй и за кошельком полез.

Егор этих мужиков по мастям сразу распределил: сивый, лысый да плешивый. И бабенок соответственно: рыжая и пегая. Они в дело не вступали: разговоры сивый с плешивым вели. А лысый окрестностями любовался.

– Как, – спросил, – рыбка ловится у вас?

Бабенки возле мешков своих щебетали, а Колька рядом вертелся. В школе занятия кончились, так он иногда сюда заглядывал, отцу помогал. Бабенки на него внимания не обращали, потому что кружил он в отдалении, но когда рыжая из мешка бинокль (настоящий бинокль-то!) вытащила, его вмиг подтянуло. Точно лебедкой.

– Ах, какой мальчуган славный! – сказала пегая. – Тебя как зовут, мальчик?

– Колькой, – охрип вдруг Колька: басом представился.

– А грибы у вас растут, Коля?

– Рано еще грибам, – прохрипел Колька. – Сыроеги прут кой-где, а масляткам слой не вышел.

– Что не вышло масляткам? – Рыжая даже бинокль опустила.

– Слой им не вышел, – пояснил Колька, и ноги его сами собой шаг к этому биноклю совершили. – Грибы слоями идут: сперва маслятки, потом – серяки, за ними – красноголовик с боровиком пойдут. Ну а следом настоящему грибу слой: груздям и волнухам.

– Слой – это когда много их, да?

– Много. Тогда и берут. А так – баловство одно.

И еще шаг к биноклю сделал: почти что животом в него уперся. И глядеть никуда не мог: только на бинокль. Настоящий ведь бинокль, товарищи милые!

– Хочешь посмотреть?

Колька «да» хотел сказать, рот разинул, а вместо «да» бульканье какое-то произошло. Непонятное бульканье, но рыжая все-таки протянула:

– Только не урони.

– Не-а.

Пока тятка мотор получал да наставления от Якова Прокопыча выслушивал, Колька в бинокль смотрел. Если в маленькие окошечки глядеть – большое все видится. А если в большие окошечки, то все, наоборот, маленькое. Непонятно совершенно: должно же большое, если в большое, и маленькое, если в маленькое, правда? А тут все не так. Не так, как положено. И это обстоятельство Кольку куда больше занимало, чем прямое назначение бинокля: он все время вертел его и глядел на ворону с разных концов.

– Зачем же ты его вертишь? – спросила рыжая. – Смотреть надо в окуляры, вот сюда.

– Я знаю, – тихо сказал Колька.

– А для чего же вертишь?

– Так, – застеснялся Колька. – Интересно.

– Сынок! – позвал Егор. – Подсоби-ка мне тут, сынок.

Сунул Колька бинокль в руки рыжей, хотел «спасибо» сказать, но из глотки опять сип какой-то вылез, и пришлось убежать без благодарности. А пегая сказала:

– Туземец.

– Оставь, – лениво отмахнулась рыжая. – Обычный плохо воспитанный ребенок.

Под недреманным оком Якова Прокопыча Егор нацепил «Ветерок» на корму «девятки» (бывший «утенок» – пузатенький, важный, Егор про это помнил), установил бачок с горючим. Колька весла приволок, ключины, черпачок – все, что положено.

– Все ладно-хорошо, Яков Прокопыч, – доложил Егор.

– Опробуй сперва, – сказал заведующий и пояснил туристам: – Первая моторная навигация, можно сказать. Чтоб ошибок не было.

– Нельзя ли поживее повернуть весь этот ритуал? – ворчливо поинтересовался лысый.

– Так положено, граждане туристы: техника безопасности. Давай, Полушкин, отгребайся.

Про технику безопасности Яков Прокопыч с ходу выдумал, потому что правил таких не было. Он про свою безопасность беспокоился.

– Заведи, Полушкин, мотор на моих глазах. Кружок сделай и обратно пристань, где я нахожусь.

– Ясно-понятно нам.

Колька на веслах отгреб от причала. Егор поколдовал с мотором, посовал в него пальцы и завел с одного рывка. Прогрел на холостых оборотах, ловко включил винт, совершил для успокоения заведующего несколько кругов и без стука причалил. Хорошо причалил: на глаз прикинул, где обороты снять, как скорость погасить. И – заулыбался:

– В тютельку, Яков Прокопыч!

– Умеешь, – сказал заведующий. – Разрешаю грузиться.

Егор с сыном на пристань выскочили, быстренько мешки погрузили. Потом туристы расселись, Колька – он на носу устроился – от пристани оттолкнулся, Егор опять завел «Ветерок», и лодка ходко побежала к дальнему лесистому берегу.

О чем там в пути туристы толковали, ни Егор, ни тем более Колька не слышали. Егор – за моторным грохотом, а Колька потому, что на носу сидел, видел, как волны разбегаются, как медленно, словно с неохотой, разворачиваются к нему другой стороной дальние берега. И Кольке было уже не до туристов: впередсмотрящим он себя чувствовал и только жалел, что, во-первых, компас дома остался, а во-вторых, что рыжая тетенька дала ему поглядеть в бинокль преждевременно. Сейчас бы ему этот бинокль!

А туристы калякали о том, что водохранилище новое и рыбы тут особой быть не может. До Егора иногда долетали их слова, но значения им он не придавал, всецело поглощенный ответственным заданием. Да и какое было ему дело до чужих людей, сбежавших в тишину и покой на считанные денечки! Он свое дело знал: доставить, куда прикажут, помочь устроиться и отчалить, только когда отпустят.

– К обрывчику! – распорядился сивый. – Произведем небольшую разведочку.

Разведочку производили в трех местах, пока наконец и рыжая и пегая не согласовали своих пожеланий. Тогда приказали выгружаться, и Егор с сыном помогли туристам перетаскать пожитки на облюбованное под лагерь место.

Это была веселая полянка, прикрытая разросшимся ельничком. Здесь туристы быстро поставили просторную ярко-желтую палатку на алюминиевых опорах, с пологом и навесом, поручили Егору приготовить место для костра, а Кольке позволили надуть резиновые матрасы. Колька с восторгом надувал их, краснея от натуги и очень стараясь, чтобы все было ладно. А Егор, получив от плешивого топорик, ушел в лесок нарубить сушняка.

– Прекрасное место! – щебетала пегая. – Божественный воздух!

– С рыбалкой тут, по-моему, прокол, – сказал сивый. – Эй, малец, как тут насчет рыбки?

– Ерши, – сказал Колька, задыхаясь (он аккурат дул четвертый матрас).

– Ерши – в уху хороши. А путная рыба есть?

– Не-а.

Рыба, может, и была, но Колька по малости лет и отсутствию снасти специализировался в основном на ершах. Кроме того, он был целиком поглощен процессом надувания и беседу вести не решался.

– Сам-то ловишь? – поинтересовался лысый.

– Не-а.

Колька отвечал односложно, потому что для ответа приходилось отрываться от дутья, и воздух немедленно утекал из матраса. Он изо всех сил зажимал дырку пальцами, но резина в этом месте была толстой, и сил у Кольки не хватало.

– А батька-то твой ловит?

– Не-а.

– Чего же так?

– Не-а.

– Содержательный разговор, – вздохнула пегая. – Я же сказала: типичный туземец.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.